

Ван Мэн

# ПЕЙЗАЖИ ЭТОГО КРАЯ

王蒙 这边风景 下

2

«Чудесный пейзаж, представший передо мной после нескольких дней пути по пескам Гоби, околдовал меня. Конечно, сердце звало меня в этот далекий край моей Родины, горело любовью к братскому народу, но все же, впервые ступив на незнакомую землю, подняв глаза и не видя ничего «родного», я чувствовал некоторую робость и трепет...»

Мэн Ван

**Пейзажи этого края. Том 2**

Международная издательская компания «Шанс»

2013

УДК 821.581  
ББК 84(5Кит)

**Ван М.**

Пейзажи этого края. Том 2 / М. Ван — Международная  
издательская компания «Шанс», 2013

ISBN 978-5-907173-58-3

Роман «Пейзажи этого края» описывает Синьцзян начала 1960-х годов – во время политических экспериментов и голода в Китае, натянутых отношений с Советским Союзом. Здесь жили уйгуры, ханьцы, казахи, узбеки – мир героев романа многонационален. Трудиться в коммуне со всеми наравне, жить просто или хитрить, заниматься незаконной торговлей, притворяться больным? Думать о жизни реальных людей или слепо строить политическую карьеру? Бежать за границу или остаться на родине? Эти вопросы герои романа Ван Мэна решают для себя каждый день, каждый их поступок – это новый поворот. Для широкого круга читателей.

УДК 821.581  
ББК 84(5Кит)

ISBN 978-5-907173-58-3

© Ван М., 2013  
© Международная издательская  
компания «Шанс», 2013

## Содержание

Глава двадцать первая	5
Глава двадцать вторая	18
Глава двадцать третья	25
Глава двадцать четвертая	35
Глава двадцать пятая	45
Глава двадцать шестая	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

# Ван Мэн

## Пейзажи этого края. Том 2

### Глава двадцать первая

#### Майсум рассуждает о Марксе, Ленине, Сталине и приглашает Тайвайку на ужин

«Начальник отдела» Майсум, всегда бывший в курсе последних событий, той же ночью уже знал об истории с конфискацией коровы. На следующий день с рассветом, невзирая на сомнения и возражения жены, Гулихан-банум, он, держа перед собой большую миску с теплым молоком – поверх него, радуя глаз, масляно сверкала толстая плотная корочка сливок, – пришел домой к Ниязу. Входя в ворота, он моментально сменил довольную улыбку на хмурую мину искреннего сочувствия.

Тут будет уместно пояснить, что коровы, которых держат илийские крестьяне, раза в два, а то и в три меньше, чем породистые датчанки или голландки; молока они дают от полутора литров до семи-восьми, корма им надо не так много. Ханьское население внутренних районов зачастую даже не представляет себе, как это крестьяне на севере Синьцзяна держат коров – как они их могут прокормить? Люди думают, что держать корову – большая роскошь и широкий размах. Так что лучше читателю знать, что речь идет о мелких непородистых коровах.

Хозяин дома только что умылся, на щеках его еще блестели капли воды и сопли. Босой, он сидел на краю кана. Нежданный гость застал его врасплох – он как сидел, так и застыл в испуге. К подавляющему большинству людей Нияз относился по привычке враждебно: если кто-то обращается к нему то наверняка лишь затем, чтобы обмануть или навредить, так он считал. С опаской и подозрением он разглядывал желтовато-бледное лицо Майсума и не ответил на приветствие гостя, впервые посещающего его жилище, не сказал полагающееся «прошу вас, входите» – и даже не изобразил на лице хотя бы подобие улыбки.

Кувахан, как женщина, вела себя совершенно иначе; она не стала пристально вглядываться и гадать, кто там пришел: она раздувала очаг, и пепел запорошил ей глаза, широко раскрывать их было больно, но даже одним, сощуренным глазом, сквозь выступившие слезы она успела измерить толщину сливок на молоке и прикинуть их густоту и жирность. Каждая морщинка на ее лице сложилась в улыбку. Она тут же запричитала: так и посыпались «Аллах!», «Худай!», «входите, пожалуйста!», «садитесь поудобнее!»; Кувахан одновременно скатывала неубранную постель, хватала, тянула, пинала, толкала еще не до конца пробудившихся ребяташек. В ее вскрикиваниях и суете выплескивалась через край непосредственная и дешевая радость – как у жадного до еды ребенка, раскопавшего в грудке мусора леденец на палочке, – неприкрыто высывалось такое заискивающее кокетство, что, закрыв глаза, можно было подумать, будто это в эмоциональной горячке тараторит девочка-подросток.

Майсум поставил миску с молоком, сделал вид, будто не замечает неприятных запахов и щиплющей нос гари, не спеша присел на край кана, облокотившись о подпирающее потолок бревно – его недавно воткнули посреди комнаты, потому что балки растрескались, – и то ли с умыслом, то ли невзначай спросил:

– Чай еще не пили?

– Ай-я, вай-я! Какой-такой у нас чай?! Вы посмотрите, как мы живем! Разве это жизнь? У нас, бедных-несчастных, даже корову отобрали. Ай, Алла, ой, Худай! Мы что – помещики? Откуда у нас деньги покупать молоко? Нет у нас денег, у нас денег – нету!

– Хватит болтать! – остановил Нияз Кувахан. – Скорей вари чай, накрывай на стол, скатерть стели!

– Сейчас-сейчас. А чай в этот раз тоже плохой. В прошлом месяце я поругалась с продавцом в сельпо. Ах, плохих людей на свете так много! С тех пор он не дает мне хорошего чая – одна крошка и палки... – В радостном возбуждении от того, что гость принес хорошее топленое молоко, Кувахан раскрыла настесь свою говорильню, но тут заметила насупленные брови мужа и его хмурый взгляд.

Нияз, не смущаясь присутствием гостя, строго одернул ее:

– Меньше болтай! Когда Худай создавал человека, не надо было женщине давать язык! Женщины так много говорят, что просто беда! – сурово сказал он и, улыбаясь Майсуму предложил: – Садитесь на удобное место, пожалуйста!

Майсум усмехнулся про себя этой напускной солидности Нияза и молча пересел на «удобное место». Дождавшись, пока будет поставлен на кан столик, расстелена скатерть и принесен чай с молоком, он, понемногу отщипывая наан, цокая и вздыхая, сказал:

– Похоже, эту вашу корову вам уже не отдадут!

– Как это? – одновременно вздрогнув, вскрикнули испуганные Нияз и Кувахан.

– Начальник бригады собирается конфисковать корову в счет долга.

– Правда?

– Ну как же не правда? – хмыкнул Майсум, выразив свое недовольство тем, что Нияз смеет-таки сомневаться в достоверности его информации. Он отхлебнул чая и ровным безразличным голосом, глядя куда-то в сторону, сказал: – Брат Абдурахман тут сказал, что вы задолжали бригаде уже несколько сотен. И корова ваша уже пять раз ходила на поля...

– Какие несколько сотен? Какие такие пять раз?!

– Какая разница – сто юаней или восемьсот, четыре раза или шесть... Все равно корову не отдадут.

– Так нельзя! – закричала Кувахан. – Я не позволю!

– Ух ты! «Не позволю!» – брови Майсума взлетели вверх, губы вытянулись: он передразнил Кувахан, как взрослый человек передразнивает ребенка.

– Я его зарежу! – закричал Нияз, которого насмешка Майсума вывела из себя.

Майсум едва заметно презрительно ухмыльнулся и вдруг скорчил страшную рожу.

– Я... – Нияз сам не знал, что еще сказать, громкие слова часто загоняют человека в тупик. Нияз невольно метнул умоляющий взгляд на Кувахан.

– Уважаемый брат Майсум, начальник отдела Майсум, – получившая выговор за болтовню Кувахан снова пошла работать языком. – Ну скажите же, а? Ну что же делать-то, а? Вы же знаете: один день молока не попью – у меня голова кружится, не могу глаза открыть; два дня не пью – все руки-ноги так и ломит, не могу с кана встать; а три дня без молока – и душа уйдет вон из моего тела! Ой, голова моя от боли раскалывается... Ах... Ох!.. – Кувахан тяжело вздыхала, жалобно причитала, слезы уже блестели на ее глазах.

– Что же делать? – Майсум сочувственно кивал головой, тень, как облако, легла на его лицо. – Бригадир-то – он! Вот если бы Муса был бригадиром...

– Муса мой друг! Конечно, что и говорить! Мы же с малолетства как родные братья... – Нияз перескочил на новую тему и по привычке на всякий случай набивал себе цену.

– С малолетства? – Майсум наострил уши. – Разве вы не Южном Синьцзяне выросли? – спросил он, вперившись взглядом в Нияза. Взгляд этот словно говорил: «Думаешь, я про тебя ничего не знаю?».

Нияз похлопал глазами – он привык врать и привык, что его ловят на вранье, а пойманный на вранье, привык притворяться глухим и немым – и не краснеть.

Однако Майсум великодушно ослабил хватку:

– Да, правильно: кто бригадир, это все равно как кто отец – определяет нашу судьбу. Разница в том, что отца мы не выбираем, а вот бригадира выбирать можем.

– Но как же наша корова-то? – перебила Кувахан; ее, ясное дело, мало интересовали отвлеченные рассуждения Майсума.

– Вашу корову, конечно же, не должны были забирать. Следовало ограничиться идеологической учебкой, убеждением, разъяснить вам, что хорошо, а что плохо, и самое большее – подвергнуть устной критике; ведь это все-таки внутриародные противоречия, вы – бедные крестьяне, а бить по бедным крестьянам – значит, бить по революции. Председатель Мао сказал. Отбирать корову неправильно!

– Вот-вот! – Нияз и Кувахан радостно закивали. – А он – отобрал! Ну и пусть! Нам и не надо! Ничего, скоро мы все скажем...

– Вы что такое говорите? – Кувахан раскраснелась и приняла позу, уже готовая скандалить. – Как это мы останемся без коровы! Вы меня, что ли, своим молоком будете поить? Я вот уже говорила начальнику отдела – если не пить чай с молоком, то я...

– Ну хорошо – завтра же забирайте себе нашу корову, – великодушно и легко сказал Майсум. Уйгуры понимают, что чрезмерная щедрость никогда не бывает искренней; хотя, конечно, совсем без широты душевной никак нельзя. Но чем больше щедрость, тем меньше вероятность, что она настоящая. Широкая натура свойственна настоящему мужчине. А вот верят, надеются и соглашаются принять щедрый подарок только тыквоголовые, которым уже никакими лекарствами не помочь; это признак дурачины, одним словом.

– Обязательно надо забрать корову, – грозно сказал Нияз. – Если Ильхам не отдаст – я пойду в коммуну жаловаться! Я пойду к начальнику большой коммуны Кутлукжану – все знают, как я за него в прошлом году заступался! И этот – ревизионист Ленька – угрожал мне, оскорблял...

– И поэтому начальник большой бригады на вашей стороне и вместо вас пойдет и пригонит назад вашу корову? – холодно спросил Майсум. – Похоже, вы совсем не знаете начальника большой бригады! Особенно сейчас, когда его затирают и подвергают нападкам. Пойдете в большую бригаду – он вас только отчитает, призовет к порядку и выставит с голым задом...

– Но... – Нияз вынужден был признать, что Майсум прав.

– Пожалуйста, не надо так, а? Уважаемый брат Майсум, дайте нам немного вашей мудрости! – снова запричитала Кувахан.

«Дать вам немного ума будет посложнее, чем научить осла танцевать! – подумал Майсум. – Ну что ж, за неимением оного будем использовать то, что есть. Если бы не принес миску молока, вообще бы кончилось одной руганью».

– А пусть Кувахан сходит поговорит с Пашахан, – как бы мимоходом предложил Майсум. Нияз понял, зачем Кувахан идти к Пашахан, невольно задумался и стал тереть лоб.

– Но, вообще-то, вы тоже уж слишком, – вдруг сменил направление разговора Майсум. – Пшеничное поле чье? – бригады, а корова чья? – ваша личная; вы же только и думаете что о личных интересах и совершенно не заботитесь об интересах бригады – какой же руководящий работник будет на это смотреть спокойно? Начальник Ильхам такой активный – как же он мог проявить к вам снисходительность? Может быть, вам стоит написать заявление с самокритикой, обязательство – как это называется? – вот-вот: «склонить голову и признать вину»? Пояснить, что вы добровольно передаете корову в счет погашения долга. Но ваш долг одной только коровой не покроешь – лучше еще и осла отвести. И начиная с этого дня от зари и до заката будете усердно трудиться, не брать домой из бригады ни травинки, ни зернышка... Кто знает, может быть, вы станете передовиком труда, получите премию – пару полотенец, эмалированную кружку, или позовут на собрание в округ и угостят пловом из баранины... Ха-ха-ха! Ну, мне пора. Пора голубей кормить. Кувахан, вы, говорят, на полях проса насобирали немало – не могли бы дать и мне чуть-чуть? А? О! У меня – голуби: гули-гули! Они любят пшено...

Что? Нету? Да-да-да, ничего-ничего, не беспокойтесь – я найду, это не дефицит. Людей можно найти, пшено можно найти, золото тоже можно найти, а тыкву – так на каждом углу. Я пошел. Да – что это у вас с лицом, вы что, боитесь? Движение в этот раз выправляет работу руководящих кадров... Так что Ильхам вас выправит или вы его – это еще надо посмотреть... Все может быть, все быть может... Когда скучно станет – приходите ко мне, посидим... До свидания.

Нияз испытывал неприязнь к «начальнику отдела», сомневался, но его предложение все-таки принял. Прикинув цену двух упаковок рафинада и одной коровы, взвесив все плюсы и минусы, он-таки отправил Кувахан к Пашахан.

Кувахан с рафинадом пошла к супруге начальника большой бригады Пашахан и, слезно причитая, изложила ей формулу: корова – молоко – чай – бедная женская голова. При этом она ругала и поносила Ильхама и Абдурахмана на все известные в мире людей лады.

В течение последних года с небольшим положение Кутлукжана постоянно менялось – и притом как-то непонятно. В конце прошлого лета истории с Бао Тингуем и Курбаном сильно ему навредили. Прошла осень, и его понизили до вторых ролей – как тут не упасть духом. У Кутлукжана разыгралась болезнь сердца, у Пашахан разболелись суставы; их обоих поместили в палату больницы коммуны. К зиме их выписали – отпустили болеть дома. Но с приходом весны все вроде бы пришло в норму, больше не происходило ничего неординарного.

Кутлукжан по-прежнему руководил мастерскими и бригадой по капстроительству, члены коммуны по-прежнему уважительно здоровались с ним за руку и сгибали спины, приветствуя его. Когда созывалось совещание парткома коммуны в марте этого года, секретарь Лисиди больше не указывал на необходимость его присутствия – и это сыграло более важную роль в перемене настроения Кутлукжана. Похоже, позиции его в общем и целом оставались теми же, что и прежде – а состояние здоровья Лисиди при этом постоянно ухудшалось. Кутлукжан по-прежнему имел решающий голос в делах большой бригады; постепенно вернулись его изящные жесты, самоуверенность и манера звучно говорить. Конечно, он стал гораздо более осмотрительным.

А вот Пашахан после болезни преследовали бесконечные осложнения: после выхода из больницы у нее появилась одна особенность – она стала стонать. Она постоянно стонала. Всегда стонала. Когда спала, когда ела, когда говорила, когда ходила по магазинам – она постоянно испускала мягкий ворчащий стон, как ворчит не очень полный самовар от горячего пара. Ее полное округлое тело мелко подрагивало, на лице было выражение такое, словно она только что проглотила полбутылки горькой микстуры. Ее стоны были лучшим подтверждением того, что ей положены полный покой и освобождение по болезни, так что она больше не участвовала ни в каких трудовых мероприятиях производственной бригады и не ходила на собрания; ну разве что выходила во время всеобщего аврала на летней уборке урожая – так, показаться.

Не переставая стонать, Пашахан выслушала жалобы Кувахан. Две пачки рафинада и порция отборной ядовитой брани подняли ей настроение и вернули тот энтузиазм, который с молодости пробуждался в ней от сладкого, подарков и досужих разговоров. Она не только обещала всеми силами от имени большой бригады требовать возвращения Кувахан ее коровы (говорила она это так, будто сама была ответственным руководителем большой бригады), но еще и подарила Кувахан миску молока, два печеных пирожка и кисть винограда.

За порогом долго прощались. Одна сказала:

– Вот ведь, с пустыми руками пришла к вам, как же мне стыдно!

Другая на это отвечала:

– Как же я вас так отпускаю – с пустыми руками... уж вы простите меня!

Потом обе дружно вздохнули:

– Ну да что же нам делать? Жизнь у нас теперь вот такая...

Как будто всем сердцем желали: Кувахан – появиться на пороге с коробками, полными парчи и украшений, а Пашахан – в ответ поднести трех коней и пару верблюдов.

– Чаше приходите в наш дом! На нашем огне всегда кипит вода – заварить чай для таких гостей, как вы!

– Вай! И вы почаще нас навещайте – для таких дорогих гостей у нас всегда расстелена скатерть!

Обе женщины были крайне растроганы, слезы блестели у них на глазах – с трудом расстались.

Выйдя от Нияза, Майсум поразмышлял – и решил направиться в мастерские. Уже больше двух лет прошло с того момента, как он обосновался здесь, в деревне, а кассиром в мастерские был назначен больше года назад; можно сказать, позади самое трудное, самое опасное время. Рана затянулась, боль ушла, осталась только память.

Воспоминания хранили горечь и боль... Любимый сын ходжи Абаса, изучавший в школе священные книги... офицер национальной армии, начальник отдела... узбек Майсымов, бежавший от разбирательства и суда... и этот низенький домик – четыре стены розово-желтого модного цвета сомон... Что же все-таки судьба написала ему на лбу?

Вспоминать – так жизнь словно бессвязный диковинный сон. Сам он не может не удивляться: он не погиб, он выжил, он действует, собрался, живет, не стоит на месте; отец говорил, когда он был маленький: «Он не такой как все. Из него выйдет большой человек», – отец, наверное, из таких, кто даже в могиле будет вертеться с боку на бок. Только какие уж там великие дела... Его лучшие, драгоценные дни и годы идут, проходят среди темной, невежественной деревенщины. Взять хоть этих, Нияза и Кувахан, – ну какая же отвратительная тупость! Впрочем, надо взять слова обратно: над кем будут потешаться умные, кем управлять, с кого получать выгоду, если не будет болванов?

Навстречу шел высокий прямой старик. На нем была уже почти не встречающаяся в Или одежда – старомодный длинный халат, чапан: у такого халата нет пуговиц, его подпоясывают кушаком, туго обматывают вокруг талии несколько раз. У старика были высокие надбровные дуги, серебристые густые длинные брови с изломом, выразительные, глубоко посаженные строгие большие глаза. На лице – густая сеть тонких морщин и необычно здоровый, свежий румянец. Белая борода старика, аккуратно расчесанная, была такой ровной, будто ее только что округлил машинкой парикмахер, – и это делало почти суровое лицо несколько мягче и добрее. То был старый плотник Ясин – муэдзин; всем своим обликом он подавал пример: такие вот бывают уйгурские старики – торжественно-строгие, искренне набожные, консервативно-упрямые.

– Салам, уважаемый брат Ясин! – поспешил первым поздороваться Майсум низким грудным голосом, приложив руки к груди.

– Салам, Майсум-ахун! – вежливо ответил Ясин. Когда он заговорил, обнажились бело-снежные зубы, все целые, без изъяна – признак строгого соблюдения подобающего для верующих образа жизни: не курить, не пить вина, не есть нечистое, неразрешенное религией. В соответствии с положенным ритуалом они обстоятельно расспросили друг друга о делах, о здоровье, поинтересовались, все ли благополучно и здоровы ли домашние.

– Редко видимся, уважаемый брат Ясин. Вы идете на праздничный джума-намаз? – по-прежнему негромко сказал Майсум, держась очень скромно – так подобает выразить свое почтение старейшим. Сказано это было очень душевно.

– Нет, у вас в бригаде надо починить арбу – позвали меня помочь.

– Да-да, я совсем забыл. Вы так рано вышли! Кузнец и плотник еще не пришли, прошу в мою контору – отдохните немного!

«Контора» Майсума располагалась во дворе мастерских, у самого входа – узкая, сырая, темная, она вся была заставлена ведрами с краской, картонными коробками и деревянными ящиками. На стене висели счета, таблицы прихода и расхода – все говорило об опыте и скрупулезности хозяина этого «кабинета». Майсум переставил единственный стул, на котором обычно сидел, ведя подсчеты, и пригласил Ясина садиться, а сам скромно присел на поставленные друг на друга два ящика.

– Я уже больше года в мастерских и впервые стал свидетелем вашего уважаемого появления; ваше сияние озарило этот скромный угол – это для меня, недостойного, редкое счастье.

– Ну и как? Привыкаете к сельской жизни? – сдерживая улыбку, спросил Ясин. Даже самый строгий и чинный муэдзин, видя, как почтительно держит себя Майсум, и слыша такие льстивые слова, не смог бы не улыбнуться.

– Ну конечно, конечно! Ведь говорил же Маркс, что настоящий мужчина может ко всему привыкнуть. И Председатель Мао говорил: «Деревня – это просторная земля под небом». Для человека еда – самое святое, самое великое. Пророк Мухаммед в свое время тоже был крестьянином... – Майсум хорошо понимал характер старика: он с благоговением относится к пророку и в то же время искренне поддерживает партию и народное правительство, с любовью и уважением относится к вождю революции.

– Так, так, верно, – кивал старик.

– В деревне хорошо, к жизни в деревне тоже привык, все нравится; вот только много происходит такого, к чему не привыкнешь! – Майсум осторожно направил разговор в новое русло. – Вот взять, к примеру, сегодняшнее утро: Нияз-ахун пришел ко мне и долго-долго жаловался – у него, бедного, корову отобрали.

– Что случилось?

– Его корова случайно забрела на пшеничное поле, и начальник бригады Ильхам конфисковал ее в счет долга.

– О... – реакция Ясина была прохладной.

– Кувахан плакала. Увы, человек слаб, а жизнь так тяжела и трудна. Нет коровы – нет молока, не попить чаю с молоком, не сбить из него масла, а без масла нет ни масляных пирамидок, ни блинов. А ведь они собирались еще продавать немного, чтоб мелочь была на расходы: соли там купить или чаю... Что еще может женщина, кроме как плакать! – исполненный глубокого сочувствия Майсум непрерывно вздыхал – даже глаза покраснели.

– Нияз-ахун – бестолковый человек, неинтересный... – плотник Ясин нахмурился. Он никогда не говорил о человеке плохо за спиной – «неинтересный» и «бестолковый» в его словаре были уже очень резкими словами.

– Да-да, конечно, – поспешил согласиться Майсум. – У Нияза действительно есть недостатки; Маркс еще давно говорил, что у всего сущего в мироздании есть недостатки. Сущее и изъяны – это как однойцевые близнецы. Не понимаете? Ну вот, например, наша планета тоже не лишена недостатков – на полюсах холодно, а на экваторе жара. И в этих счетах тоже есть изъян, – он встал, взял со стола счета и показал Ясину. – Посмотрите: в этом ряду не хватает одной костяшки; что уж говорить о несчастном роде людском! Только благодаря недостаткам и существует этот мир! О-о! это философия...

Ясин кое-как знал письменность, с большим трудом читал новые и старые книги. У него не было в свое время возможности учиться и не было достаточных способностей, чтобы самому много читать. Была тяга и интерес к книгам и учению – он обожал «книжный аромат», – но за свой долгий век так и не овладел настоящими знаниями. Поэтому он с огромным уважением относился к книжной учености. Ему очень нравилось слушать, как другие излагают разные пустые и глубокомысленные теории, и чем меньше он понимал, тем больше ему нравилось их слушать. Еще он уважал священников, врачей, интеллигентов и руководящие кадры. Как

муэдзин, он стремился к истине, положительно относился к религии, готов был служить религиозным идеалам, философии и культуре. В этом была основа для его сближения с Майсумом.

Увидев, что старый Ясин внимательно его слушает, Майсум приободрился и продолжал:

– А что такое крестьянин? Крестьянин – это мелкий производитель, он ежедневно и ежедневно порождает капитализм. Крестьянин – трудящийся и одновременно – частный собственник. Интересы крестьянства нельзя ущемлять. Ленин перед смертью разогнал все окружение, оставил одного Сталина и ему лично сказал: «Крестьянин – как маленькая птичка: если держать слишком слабо, она улетит. А если держать слишком крепко – можно и раздавить!» – Майсум раскрыл левую руку, сжал кулак и снова разжал.

– Как?! Ленин говорил, что крестьянин – это маленькая птичка? – Ясин был поражен: похожую метафору он слышал, но и предположить не мог, что это слова Ленина!

– Ну конечно, это же в книгах написано! Кстати, вы читаете по-русски?

Ясин сокрушенно покачал головой.

– А по-китайски?

Ясин снова едва слышно выдавил свое «нет».

– Тогда ничего не поделаешь – у меня есть собрание сочинений Ленина, но, к сожалению, не на уйгурском. Ну да ничего; Ленин действительно так сказал. Эти слова всем известны. Разве Нияз – не такая вот ошипанная, растерявшая свои перышки птичка? Поэтому, следуя заветам товарища Ленина, корову у Нияза не стоило отбирать. Начальник бригады Ильхам поступил слишком строго.

Ясин кивал – слова Майсума начали действовать.

– И по мусульманским обычаям тем более нельзя было так поступать. Какой бы ты ни был большой начальник, ты же все-таки уйгур – как можно отвернуться и забыть о земляческих чувствах! Это нехорошо, это жестоко! Вот вы скажите – а Кутлукжан, он какой человек?

– Кутлукжан-то? Да, он человек хороший.

– Вот видите! Как вы говорите, Кутлукжан – вот такой человек, – Майсум поднял большой палец, – а некоторые именно его и отодвигают от дел. Кто же? Не мне говорить. Вы сами понимаете. У нас есть возможность замолвить за него словечко. Говорят, в следующем месяце приедет рабочая группа по социалистическому воспитанию.

...Майсум проводил Ясина и почти сразу встретил Тайвайку, пригнавшего повозку с углем: весь с головы до ног в черной пыли – даже в бровях и бороде застряла угольная крошка. Поверх угля был настелен кусок войлока, тоже покрытый пылью, на нем восседал сам Тайвайку в угольно-черном блестящем кожаном пальто, хотя день был не холодный – похоже, стужа, въевшаяся в его тело, пока он ехал при звездах да в предрассветных сумерках загружал повозку, не до конца еще развеялась. Одни только сверкавшие белки глаз да розовые губы выдавали в нем живого человека.

– Тайвайку-ахун, откуда уголь?

– Из Чабучара.

– Вот почему такой хороший! Одни крупные куски!

– Там внизу помельче.

– Я покупаю эту повозку, плачу наличными.

– Нельзя – это для малообеспеченных.

– Хорошо-хорошо! Я ведь только пошутил; пою вам хвалебную песню за то, что вы привезли такой хороший уголь, – не более того. У меня дома угля пока предостаточно. Что, братишка, на сегодня ваш рабочий день, пожалуй, окончен?

– После обеда надо будет привести в порядок лошадь и повозку.

– Ну хорошо-хорошо, а с конюшни – приходите прямо ко мне домой...

– Благодарю вас, но...

– Какие «но»? Я ведь приглашаю вас от чистого сердца! Вечером, в пять часов, управитесь? Ну, тогда в шесть. Я буду вас ждать. Только обязательно приходите, нельзя не прийти! Договорились?

Приглашение Майсума не очень-то удивило Тайвайку. Его, холостяка, часто звали в гости то здесь, то там. Кто-то хотел проявить заботу: ну как это? здоровый мужик – и будет возиться с котелками да поварешками? куда это годится! Другим что-нибудь было нужно – или его время, или его работа, сила. К Майсуму он не испытывал ни особого уважения, ни отвращения. Ну, начальник отдела, хотел уехать – не получилось, член коммуны; он идет своей дорогой – и это его личное дело; кому охота о нем переживать – тот пусть и переживает, а ему, Тайвайку, это до задницы. Ясное дело, не каждый крестьянин может стать начальником отдела, но с другой стороны – почему бы и начальнику отдела не стать крестьянином?

Начальник отдела – невелика радость, уехать за границу – не преступление, быть крестьянином – не горе. Тайвайку привык рубить сплеча и с такой же философией подходить к людям; после обеда, закончив на конюшне приводить в порядок повозку и упряжь и увидев, что еще рано, он помог конюху нарубить люцерну на корм, дождался, пока начнет темнеть – и по-простому с наилучшими намерениями и разыгравшимся аппетитом вовремя явился к Майсуму домой.

Майсум жил на границе Патриотической большой бригады и большой бригады «Новая жизнь», около шоссе; слева от его дома шла грунтовая дорога к производственно-строительной воинской части, а справа была маленькая мастерская по обработке хлопчатника, принадлежавшая большой бригаде «Новая жизнь» и пустовавшая шесть месяцев в году. Позади мастерской простиралось большое овощное поле бригады «Новая жизнь». Последний урожай пекинской капусты уже был убран, только кое-где торчали палки на межах посреди разрыхленного поля и валялись то тут то там пожелтевшие увядшие капустные листья.

Это было уже второе жильё Майсума. Летом 1962, когда начальника отдела сняли с должности, в бригаде ему выделили бывшую плотницкую мастерскую. Этой весной он купил двор, раньше принадлежавший члену коммуны из Третьей бригады «Новой жизни», построил новый дом из двух комнат, одну комнату развалюхи прежнего хозяина превратил в сарай, а другую переделал в хлев для коровы, построил новый курятник, голубятню, погреб для овощей – и заново поставил стену вокруг двора.

Увидев слишком высокую и слишком правильную для села стену, Тайвайку вспомнил произошедший в свое время на этом месте конфликт. В тот день он как раз проезжал мимо и еще издали увидел группу людей и услышал их возбужденные громкие голоса: оказывается, когда Майсум возводил стену, он передвинул фундамент на метр, захватив кусок овощного поля «Новой жизни»; Абдурахман запретил ему, но Майсум стоял на своем и спорил:

– Я договорился с начальником Третьей бригады «Новой жизни», не твое это дело!

Рахман же говорил:

– Ни у кого нет права захватывать коллективную пахотную землю! У каждого есть право вмешиваться!

Спор все не прекращался, и тут пришел Ильхам – поддержал Абдурахмана и раскритиковал Майсума. . . Помрачневший Майсум повел себя иначе, когда появился Ильхам: сказал еще что-то невнятное в свое оправдание, а потом скрепя сердце снес уже возведенный до колена новый фундамент.

Тайвайку толкнул дверь во двор и оказался в очень старом саду; по темно-коричневым стволам старых абрикосовых деревьев, по растрескавшейся коре тут и там как слезы блестели потеки прозрачной смолы – сердцу больно смотреть. В саду не было ни души; в сгущающихся

закатных сумерках абрикосовые деревья казались огромными, застали не только сад, но и небо. Тайвайку ускорил шаг и пошел в сторону дома, стоявшего в глубине этого абрикосового леса.

Не успел он сделать и пары шагов, как ему показалось, что он уловил шорох или движение сзади сбоку – интуитивно он понял: к нему бросилась собака. Собаки, которые не лают, – самые коварные; это их подлый характер: воспользоваться тем, что ты не ожидаешь нападения, укусить и тут же убежать. Тайвайку быстро обернулся – действительно, это была большая черная собака, с острой мордой и белыми пятнами вокруг глаз, с гладкой блестящей шерстью. На мгновение Тайвайку даже почувствовал досаду: такая красивая наружность и такое низкое поведение; он слегка наклонился вперед, согнув левую ногу и отступив правой чуть назад: приготовился, если собака вдруг бросится, ударить ногой. Его большое тело, его решимость, стойка, как натянутый лук, круглые выпученные глаза напугали пса; он припал на передние лапы и стал яростно скрести землю, не решаясь двинуться вперед, высоко задрал хвост и злобно, звонко, громко залаял. Тайвайку и собака застыли друг напротив друга секунд на десять, потом Тайвайку резко шагнул вперед – и пес, испугавшись, отпрянул, но залаял еще громче и злее, даже стал подпрыгивать на месте. Тайвайку холодно рассмеялся, развернулся и пошел широким шагом, не оборачиваясь, но, конечно, оставаясь все время начеку.

На лай собаки дверь дома со скрипом отворилась, и вышла жена Майсума – узбечка Гулихан-банум; она встала на высоком крыльце и так стояла, не подзывая пса, не приветствуя гостя, только молча в упор смотрела на Тайвайку. Может быть, в густеющих сумерках она не могла разобрать, кто идет. Лишь когда Тайвайку одной ногой ступил на крыльцо и окликнул ее, только тогда она словно очнулась и ответила.

В отличие от обычно круглого, простого, открытого лица, свойственного тем, в ком течет узбекская кровь, лицо Гулихан-банум было вытянутым. Сама она была высокого роста, с темно-коричневой смуглой кожей, в длинном выцветшем, но изысканном бархатном фиолетовом платье, подчеркивавшем ее стройную фигуру. Брови у нее были тонкими и длинными, глаза – большими, миндалевидными, нос – прямым, с высокой переносицей; ее обволакивающий взгляд и чуточку выпяченные губки, складочки в уголках рта при всей их обольстительной кокетливости выдавали трезвый расчет. Узнав Тайвайку, она оживилась и отвечала на приветствие гостя высоким пронзительным голосом – таким фальшивым фальцетом она как бы выражала свою радость и удивление.

– Прошу, входите! Прошу, Тайвайку-ахун, мой брат!

– Уважаемый брат Майсум дома?

– Прошу, проходите, пожалуйста, в дом!

Тайвайку вошел, сел, еще раз спросил о Майсуме – только тогда она ответила:

– Нет, он еще не пришел; скоро, очень скоро придет.

Она говорила улыбаясь, от чего ее красивая переносица сморщилась, а вытянувшиеся губы стали похожи на цветок вьюнка – и мелькнул золотой зуб. Ответ Гулихан-банум заставил Тайвайку вздрогнуть. Не потому, что хозяина не было дома, а потому, что хозяйка заговорила теперь своим обычным голосом: сиплым басом.

Тайвайку честно сидел и ждал, в животе урчало от голода. Гулихан-банум готовила ужин. Колобок теста, который она мяла в руках, был таким маленьким, что и одному-то Тайвайку не хватило бы.

Хозяйка живо расспрашивала его обо всем, но Тайвайку отвечал просто и односложно – или «да», или «нет», или «тан» – у илийцев это словечко означает примерно: «а кто его знает». Неизвестно почему, только в голосе Гулихан-банум было что-то такое, что у Тайвайку ассоциировалось с мягкой и липкой тянущейся жидкой резиной.

Прошло полчаса, потом еще десять минут. Совсем стемнело.

Майсума по-прежнему не было. Тайвайку чувствовал себя крайне неловко и постоянно ерзал.

Гулихан-банум это заметила и спросила:

– А какое у вас к нему дело?

– Это он... – Тайвайку не стал договаривать – какой смысл? Он ответил: – Нет, ничего...

Я пойду.

Гулихан-банум не стала удерживать его, Тайвайку встал и вышел из дома. Было совершенно очевидно, что Майсум и не собирался кормить его ужином, хотя утром так настойчиво приглашал.

Ну и нечего на это сердиться, поговорили и забыли, у некоторых такие манеры не редкость. Собственно, с чего это вдруг Майсум должен его приглашать в гости и угощать? Не должен, конечно. Тогда и нечего мозг напрягать, догадываться, почему Майсум не сдержал слова. Скорей к себе домой, в свою, как говорят уйгуры, «фанзу».

Действительно, Майсум просто забыл. Он привык считать, что приглашение приглашением, а на деле все может быть иначе. Если только ты не тащишь гостя под локоть сию же секунду, все остальное – всего лишь вежливость, своего рода ритуал; не более чем красивые слова и демонстрация дружеских чувств. Хорошая вкусная еда успокаивает желудок, а красивые слова успокаивают душу. Когда ты в избытке чувств приглашаешь кого-нибудь в гости, то какой же приглашаемый не улыбнется? Зачем скупиться на красивые слова? Чем больше ешь хорошую еду, тем меньше остается, а красивых слов ведь меньше не станет, сколько ни говори... Поэтому Майсум, пригласив утром Тайвайку, тут же совершенно об этом забыл. Он не собирался его обманывать. Напротив – ему действительно хотелось пригласить Тайвайку и посидеть с ним. Однако именно сегодня он к этому не готовился, ничего не планировал. После работы он пошел к одному сапожнику, попил у него чаю, поболтал с ним, снял со своей ноги мерку, заказал сапоги. Потом не спеша вернулся домой. А входя во двор, столкнулся с Тайвайку.

Тут он все вспомнил. Он немедленно схватил Тайвайку, рассыпался тысячами извинений, на чем свет стоит ругая этого, чтоб он сдох, бухгалтера Четвертой бригады, который задержал его. Потом снова затащил Тайвайку в дом.

Войдя, он с порога набросился на Гулихан-банум:

– Как можно было прогонять гостя? – и отругал: – Что это такое, суп с лапшой! Я разве не говорил тебе, что сегодня придет к нам дорогой гость?

– Когда это ты говорил? – Гулихан-банум сказала это совершенно беззвучно, сдвинув брови. Однако тут же, едва взглянув мужу в глаза, все поняла и, опустив голову, залепетала, беря вину на себя. Она принялась готовить, не поднимая глаз, так и не проронив больше ни слова. В присутствии мужчин она была покладистой, кроткой – сама скромность.

Тайвайку на это совершенно не обратил внимания, их перепалка его не интересовала. Приступ голода к этому времени уже прошел. Для возницы пропустить обед, или поесть лишней раз, или питаться строго три раза в день – никакой разницы, он ко всему привычен. Привалившись к стене, Тайвайку погрузился в свои мысли. Почему белая лошадь сегодня так сильно потела? Правую ось надо бы смазать. Через семь часов снова в путь. Завтра надо в универмаге Инина купить погремушку для дочурки Ильхама – пусть играет; а заодно и забрать штаны, которые Мирзаван зашила. Он-то считает как: раз одежда изнасилась и порвалась, выбросить ее – и всех-то делов! А вот Мирзаван решила заштопать. И еще критиковала его за расточительность... А когда принесла суп с лапшой, занялась еще и самокритикой. Хорошо, что Тайвайку слушал вполуха, а то если бы вникал в ее речи о том, как она переживает и в чем винит себя, – того и гляди сам расчувствовался бы до слез, а тогда какой уж аппетит!

Они съели уже по миске лапши, и Гулихан-банум накладывала по второй, когда Майсум поднялся и прошел во внутреннюю комнату. Оттуда послышался звук открывшегося и закрыв-

шегоса сундука, а когда Майсум снова появился в дверях, в руках у него была бутылка водки и стакан.

Тайвайку любил выпить, Майсум это знал. Он, будто пританцовывая, приблизился к Тайвайку, покачивая перед его носом бутылкой. Брови Тайвайку взметнулись вверх, в уголках губ появилась тонкая довольная улыбка. Майсум с размаху поставил бутылку на стол. По уйгурским обычаям, он сначала налил стакан себе. Выпив, он поморщился, оскалился, несколько раз выдохнул ртом – словно водка была с острым перцем. Потом налил полный до краев стакан и подал его Тайвайку. Тайвайку тем временем, не поднимая головы, в два счета втянул в себя содержимое миски. Потом принял стакан, легким движением опрокинул его – и стакан оказался вдруг пуст, чист, ни капли не осталось – и даже губы не намочил; и все это без малейшего усилия и запрокидывания головы, без глотательных движений – легче, чем холодной воды выпить.

– Вы это видели? – искренне восхитился Майсум, принимая стакан. – Вот это настоящий мужик! Вот это настоящий уйгур! Это – настоящий друг!

Гулихан-банум очистила стол, внесла подносик с засахаренными фруктами и поднос солеными зелеными помидорами. Майсум, еще раз налив стакан до краев, слегка отхлебнул и, держа его перед собой, сказал:

– Уже по тому, как вы только что выпили водку – еще раз скажу: Уже по этому, – видно уйгурскую гордость, молодость и душу! О, прекрасная пора так мимолетна, и юную весну не удержать... Пришли другие времена, где теперь сыщешь хоть горстку настоящих уйгуров! Однако я вас разглядел: вы умеете поесть, умеете дело делать, умеете веселиться, умеете переносить трудности, умеете радоваться и быть счастливым; когда надо учиться – учитесь, когда пора танцевать – танцуете...

– Я вообще-то не учился как следует... – шепотом сказал Тайвайку.

– Это всего лишь метафора, так говорится в пословице! Вы храбры, сильны и упорны, полны жизненной силы – отважнее льва, быстрее скакуна...

Тайвайку нетерпеливо махнул рукой, поторапливая:

– Давай, пей уже!

– Погоди... и еще: вы очень скромный, высокий как гора, послушный и податливый как вода, скорый как ветер, горячий как огонь...

– Да ладно, хватит! – Тайвайку еще раз попытался остановить его.

Майсум поднял стакан высоко-высоко:

– Этот стакан полагается мне, однако, в знак моего к вам уважения, – прошу принять! Будьте моим другом, вы согласны?

Тайвайку принял стакан, пошевелил губами – по правилам ритуала ему сейчас следовало бы в ответ произнести какие-то красивые умные слова; однако сказанное Майсумом было настолько чересчур, настолько неприкрытой лестью, что даже на фоне бутылки переварить это было сложно; он не придумал ничего подходящего и молча, снова махом – выпил. И нахмурился.

– Позвольте спросить: а что называется «пить водку»? Только мы вот так пьем, по-настоящему. Ханьцы, когда пьют, едят столько закусок, столько овощей, что это уже не водка, а вода, в которой полощут овощи, или какой-то там жидкий соус. Русские пьют? Во! Да разве так пьют водку? Так пьют лекарство: выпьют – и конфетку, выпьют – и кусок лука, дольку чеснока. А самое страшное – это как русские, выпив и не в силах терпеть запах спирта, нюхают свою шапку: чтобы запахом своих потных волос забить этот запах! – это же просто некультурно... Казахи пьют кумыс, перебродивший в мехах из бараньей шкуры, – это они пьют не водку, а молоко...

Тайвайку сделал знак рукой – ему ни к чему были экскурсии Майсума в питейную культуру разных народов.

Стакан переходил из рук в руки, лицо Тайвайку розовело, Майсум же, наоборот, становился все бледнее и бледнее. Выпив еще полстакана и закусив осмеянной им же конфеткой, Майсум сказал.

– Кто может сравниться с возницей? В народе говорят: доля возницы – горькая доля. И в жару и в стужу, и днем и ночью, претерпевая голод и жажду, глотая один ветер, ночуя под открытым небом, весь в угле и саже... а сколько опасностей подстерегает на обрывистых тропках и в глубоких ущельях, на старых мостах и на речных берегах – притом что и днем и ночью рядом только бессловесная скотина... Да я своими глазами видел, как телега проехала прямо по вознице... И много ли найдется таких, кто доживет до старости, не переломав руки-ноги-спину не потеряв слух и зрение? Ну по крайней мере уж несколько пальцев точно потеряют!..

– Не продолжайте, пожалуйста, эти беспредельные речи!

– Хорошо, – Майсум не понял, что имел в виду Тайвайку, подумал, что это перечисление несчастий его напугало, и продолжил: – Я только хотел сказать, что во всей бригаде с вами никто не сравнится! Ваши заслуги самые большие, вклад самый значительный, мастерство самое высокое, работа самая тяжелая... Конечно, быть возницей – работа самая достойная, самая одухотворенная, самая свободная! Кто из переходящих дорогу пешим не хотел бы пойти по вашим стопам – колее, так сказать? Кто из сидящих по домам не мечтал бы вас попросить что-нибудь отвезти? Лошадь и повозка – вот настоящее богатство! Вот настоящая власть! Возница – это Худай на своем пути следования...

– Я завтра еду на шахту, привезти вам мешок угольной крошки? – Тайвайку поспешил предложить что-нибудь конкретное, чтобы выбраться из клокочущего водопада, который обрушил на него Майсум.

– Нет-нет-нет, я не в том смысле! Я же совершенно не за этим вас пригласил, я же – по-человечески...

На минуту остановившись, он смущенно улыбнулся:

– Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев – трудно выговорить, да? – сказал: «Все для человека!..» – это и это, и еще, и еще; конечно, если уж вы решите привезти мне мешок угольной крошки, то что же, я разве скажу «нет»? Мы ведь всего лишь песчинки...

Тайвайку молчал. Его взгляд, остановившийся на стакане, словно подсказывал: мне лучше бы налить...

Майсум же, напротив, никуда не спешил; он зевнул и, понизив голос, сказал:

– Хотят послать вас говно возить.

– Что?!

– Бригадир сказал, что пошлет вас в Инин, в город, чистить уборные – вывозить фекалии. Тайвайку звонко щелкнул языком, выражая свое недоверие.

– Нет, правда! – Майсум постучал пальцем по столешнице в подтверждение.

Тайвайку засомневался, потом понемногу начал закипать. В илийских селах не было обычая использовать человеческие экскременты как удобрение. В его представлении не было ничего грязнее и отвратительнее. Из-за отвращения он крайне редко заходил в уборные, пусть даже до уединенного места где-нибудь на пустоши надо было пройти несколько десятков лишних метров; неужели его, здорового мужика, отправят вычищать сортиры? Неужели в его всем сердцем лелеемую повозку будут загружать фекалии, грязные бумажки и глистов? Неужто его любимая белая лошадка тоже вляпается в это дерьмо?.. Он решительно заявил:

– Нет!

– Как можно не поехать? Бригадир сказал – все! – во взгляде Майсума мелькнула глумливая усмешка.

– Даже если бригадир сказал. Все равно не поеду, – Тайвайку повысил голос.

– Конечно. Зимой лучше уж на шахту; каждый раз себе оставлять по чуть-чуть – и весь год можно не покупать уголь.

– Я так не делал, у меня достаточно денег, чтобы купить себе уголь!

– На самом-то деле возить фекалии тоже дело хорошее – удобрение ведь; крестьяне-ханьцы очень любят применять говно! У нас вот никогда не применяли, и все так же едим нааны из белой муки... Но теперь надо во всем учиться у ханьской нации, вот ведь как...

– Да при чем тут ханьская нация? ерунда какая-то... – неприязненно сказал Тайвайку. Настроение его изменилось, он занервничал и совершенно невежливо велел: – Наливай!

– Прошу! – Майсум почтительно-послушно подал Тайвайку наполненный стакан. – Но почему вы жену отпустили? Положишь кнут, придешь домой – а там холодные, как лед, голые стены...

Тайвайку опустил голову, взгляд его снова остановился на стакане.

– Шерингуль с возрастом все красивее становится, вот уж правда, как говорится: ее сравнить с солнцем – так солнца краше, сказать «луна» – и луна не так хороша... Теперь ни за что досталась в руки младшему брату бригадира!

– Вы зачем это про Шерингуль? – голова Тайвайку опустилась еще ниже. Он был удручен тем, что Шерингуль вышла замуж.

– У меня же за вас сердце болит, несчастный вы человек! Ну чем Абдулла лучше вас? Только тем, что у него Иль...

– Брат Майсум, вы меня позвали выпить, зачем надо было упоминать имя этого человека?

– Не сердитесь, не сердитесь – я вам причиняю боль, знаю, этот прекрасный цветок сирени...

– Чушь! – Тайвайку хватил ладонью об стол, поднял голову и посмотрел прямо в глаза Майсуму – в его тяжелом взгляде была беспредельная гордость: – Это все пустые слова! Я, Тайвайку, здоровый, правильный мужик! Я за день леплю тысячу двести саманных кирпичей, за день я скашиваю три му пшеницы! Жена не захотела? – иди! Свободна! Мне какое дело? Раз одну отпустил, так могу себе взять другую! А если и вторая не выдержит моего кулака, так разведусь и возьму третью...

– Вот это правильно! Хорошо! Хорошо! – повторял Майсум. И тут же поспешно, сделав глоток, подал «стакан уважения» Тайвайку.

Тайвайку выпил залпом.

– У меня характер скверный, но в душе я добрый! Ильхам ко мне – как к родному брату. Вы это все зачем говорите? Я – хороший член коммуны, я мимо чьих угодно ворот еду – люди меня зовут: «Иди в дом, заходи!» – какой же я бедный-несчастный? Положу кнут, вернусь домой – Ахмат-ахун принесет миску лапши, Самир-ахун пришлет поднос пампушек. Кто говорит, что четыре стены пустые и холодные? Вы же позвали меня водку пить? И где она? Есть – давай, доставай. Только эта бутылка? Я с этого не напьюсь. Нет водки? До свидания!

Тайвайку поднялся и, не слушая больше причитаний Майсума, не поблагодарив, развернулся и пошел. Дойдя до порога, он обернулся и крикнул:

– Сестра Гулихан-банум! Вы следите за вашей черной собакой, а то если она кинется – придется ей дать хорошего пинка!

## Глава двадцать вторая

### Тепло семейного очага и отличие кашгарской лапши от лапши илийской

#### Небольшая размолвка в первую ночь и сон о Дачжае

В этот же вечер Шерингуль раз за разом подходила к порогу, ожидая возвращения Абдуллы.

В первый день после свадьбы у них был «отпуск». После обеда Абдулла поехал на взятой напрокат повозке – сказал, что в село на склад зерна, привезти стержней от кукурузных початков на зиму, для растопки. Говорил, что через часок вернется; но вот уже и обед давно прошел, стемнело, холодает – перед воротами во двор вода, оставшаяся в канавке для полива огорода, уже покрылась тонкой корочкой льда, – а его и тени не видать.

Шерингуль сидит в их новом доме, ждет и уже беспокоится; и сладко от этого ожидания. Небольшой домик, только что покрашенный, бледно-голубые стены; в нем стоит особый аромат: смешались запахи от известковой побелки, сандалового мыла, краски на новой хлопчатобумажной ткани в цветочек, запах жарившейся с громким шипением в кипящем масле баранины, разрезанной головки лука, острого перца и капусты – и еще примешался дымок от керосиновой лампы – тот неповторимый букет, который можно назвать ароматом счастливой семейной жизни.

Навести порядок в доме вообще-то помогла Дильнара; все уже и так чисто и свежо, красиво, опрятно. Но Шерингуль сегодня весь день снова и снова примеряла, пробовала, переставляла. То встанет на табуретку и полезет под потолок, чтобы перевесить картинку; спрыгнет, посмотрит – и вернет почти на то же самое место. То возьмется за прекрасно установленную, сверкающую так, что смотреться в нее можно, недавно купленную чугунную печку – и отсоединит дымоход, а потом снова приставит. Она бесконечно подметала пол, протирала стол, заново чистила котлы и плоски, чтобы все сияло и блестело. Она была словно вечно недовольный собой и в то же время опьяненный собой художник, для которого вечные поправки превратились из метода в цель; она была в радостном возбуждении – и в то же время у нее кружилась голова и рябило в глазах.

Сидит и любит, выискивает во всем недостатки. Всего этого прежде даже в мечтах и во сне не видела она так четко, а сегодня все так радуется сердцем и душой, что и представить было невозможно. Неужели на самом деле она и Абдулла устроили себе такую вечную, как небо, и прочную, как земля, – чтобы вместе навсегда и никогда не расставаться – счастливую жизнь? Неужели у нее есть теперь собственный уютный и теплый дом? Неужели судьба, так часто от нее отворачивавшаяся, теперь вдруг стала щедрой и ласковой? Может же быть такое?

Может. Сейчас вернется Абдулла. Он привезет ей не только кочерыжки от кукурузных початков – он привезет ей весь мир. Он для Шерингуль – все: это пульс жизни, новые мысли, необъятные знания, доброта, чистота, достоинство – все, что она слышит и видит. Она хочет час за часом слушать, как он говорит, смотреть, что он делает; он как непрестанно бурлящий чистый родник, всегда готовый утолить ее душевную жажду... Но только почему же его все еще нет?

Шерингуль запланировала на обед лапшу. Два часа назад она замесила тесто, размяла его, выложила на поднос, полила сверху рапсовым маслом, накрыла теплым полотенцем.

Она обжарила овощи к лапше, добавила бульон, поставила на стол в маленьком эмалированном горшочке с зеленой крышечкой. Час назад поставила кастрюлю, вода закипела, выкипела; еще добавила воды. Огонь ослаб, добавила еще угля. А он еще не вернулся.

Услышала звук – скрип тележки, постукивание копыт ослика... Она уже столько раз выбегала смотреть, а в этот момент от счастья даже подняться не смогла.

Шерингуль помогла Абдулле разгрузить тележку, вместе вошли в дом – и тогда только увидела, что у Абдуллы все лицо в пыли и в поту, а новехоньякая одежда запачкана.

– Что это вы?.. – спросила Шерингуль. Она не спросила, почему так поздно – от радости не могла выговорить эти слова с оттенком упрека и недовольства; и она по-прежнему говорила ему «вы».

– Вы не можете представить! Так здорово! У всех такой энтузиазм – брат Ильхам очень долго нам рассказывал. Шерингуль, мы завтра же выходим на работу, непременно! – Абдулла говорил радостно, сбивчиво.

Шерингуль ласково кивала – наверное, ей и в голову не пришло, что можно отдохнуть еще пару дней.

– Так вы весь день слушали, что рассказывал брат Ильхам? – она говорила, а сама смотрела на покрытый извилистыми линиями узоров большой медный кувшин с водой для рук и для умывания. Долила в него холодной и горячей воды, тыльной стороной ладони проверила температуру – и приготовилась поливать Абдулле.

Абдулла, похоже, не привык еще к такому обслуживанию. Он протянул руку – принять кувшин; Шерингуль не дала. Тогда он, неуклюже подставив пригоршни, набрал воды и стал плескать себе в лицо, смешно пофыркивая, выковыривать грязь и пыль из ушей. Он вымыл руки и шею с мылом, которым обычно пренебрегал. Потом принял белое новое полотенце с двумя яркими пионами, энергично, старательно вытер капельки воды с лица и шеи, так что кожа покраснелась. Вытирая лицо, он говорил:

– Я помогал Иминцзяну пересыпать зерно – брат Ильхам сказал, что надо немного навести порядок; он сказал, что в следующем месяце приедет рабочая группа проводить в коммуне воспитательную работу. На селе все работают – как же я мог просто нагрузить себе кукурузных кочерыжек и сразу уехать? Люди там в дыму и пыли, все в поту – а я чистенький, в аккуратной одежде, не работаю, как помещичий сынок какой-нибудь – ну совсем неловко... – Абдулла рассмеялся – у него слегка обнажились десны и вид стал совсем наивный и простой. – А потом пришла сестра Ульхан – получать зерно на еду; ну откуда у этой несчастной женщины силы тащить на спине мешок зерна? Я ей сказал взять сразу на несколько месяцев и отвез ей на тележке, за один раз. Она так уговаривала остаться на чай, но я отказался. По дороге встретил Турсун-бейвей с ее девочками – они как раз привезли овечий навоз со старой овчарни у реки – помог им разгрузить телегу; смотрю: навоз еще перегнил не полностью – разбросал на кучи, накрыл землей... А потом даже не помню, что делал, вот до самого этого времени...

– И еще завтра говорят выходить на работу? может, хватит? Вы ведь уже выходили сегодня! – посмеивалась Шерингуль.

– Это не в счет, – Абдулла слегка поджал губы, выпятил подбородок. – Но, однако, прости – заставил тебя долго ждать.

– Нет, я совсем не ждала, – невольно соврала Шерингуль и, указывая на стол, добавила: – Вы пришли как раз вовремя.

Шерингуль принялась готовить. Она делала лапшу по-кашгарски, не так, как делают илийцы, с большим количеством маленьких заготовок из теста – она сделала несколько больших, раскатала их и уложила спиралью, так, чтобы образовались крученые пирамидки. Времени прошло довольно много, и тесто стало совсем мягким. Она подняла заготовку за один конец, без малейших усилий растянула лапшу, быстро-быстро завертела ее, накручивая на

запятье бесконечными кольцами, потом одним движением скинула – бах! хлоп об стол! – откинула в сторону – быстро и ловко наполнила всю кастрюлю.

– Очень хорошо! – восхитился Абдулла, неотрывно смотревший на то, как работает Шерингуль.

Шерингуль покраснела:

– Садитесь, пожалуйста, отдохните. Когда будет готово, я подам. Что вам здесь стоять?

– Может быть, я помогу чем-нибудь? – Абдулла взял палочки и стал помешивать варящуюся лапшу.

– Нет-нет-нет, – Шерингуль поспешила отобрать у него палочки.

Абдулла, лишенный дела и погрузневший, пристыженно сел возле стола.

Очень скоро все было готово. Шерингуль поставила перед Абдуллой большую миску, наполненную с горкой, выбрала лучшие кусочки мяса, добавила много овощей, усадила Абдуллу как полагается – во главе стола; а себе оставила маленькую мисочку и немного капусты, примостилась сбоку от Абдуллы на углу.

– Почему ты себе положила так мало? – запротестовал Абдулла.

– Вы ешьте, ешьте. Лапши еще много. Теперь вам хватит! Помните? В прошлом году летом вам не хватило похлебки... Даже луковицу вернули на кухню...

– Луковицу? Может быть... У меня память слабая... – Абдулла поскреб щеку и с воодушевлением принялся за еду. Он ел и говорил: – Э, Шерингуль, ты сегодня не была на селе, ай! – не слышала, как хорошо брат Ильхам всем рассказывал! Он рассказывал, как был в уезде на слете передовиков, как нас хвалили; в уезде нас решили поощрить – дали нам новую модель шагающего плуга. Однако чем дальше идет учеба, тем больше чувствуется, насколько мы все же отстали! Строго говоря – никакие мы не передовики. Он сказал, что в уезде провели учебу – изучали опыт Дачжая. Ты знаешь, где это – Дачжай? Не читала газеты, не слышала по радио? У всех же стоят динамики!

– Дачжай в провинции Шаньси – ну, Шаньси, откуда родом Лю Хулань. Не Шэньси, где Яньань...

– Ну ты смотри! Как сказала! – полный точный ответ; ты прямо как по учебнику географии отвечаешь. Я давно знал, что моя Шерингуль не какая-то сопливая девчонка, что она идейная, знающая...

Шерингуль ладонью прикрыла лицо – обрадовалась и засмуцалась.

– Брат Ильхам говорит, что мы, илийцы, с детства любим хвастать: такие-растакие наши илийские яблоки, масло, мед – и еще наши илийские белые тополя и бездымный уголь, и еще наш синьцзянский самый лучший воздух. Все так, у нас природные условия и правда хорошие, но тогда почему этой весной на партконференции автономного округа, когда обсуждали передовиков в сельском хозяйстве, почти все передовики оказались из Южного Синьцзяна, который граничит с пустыней Такламакан? Почему эти ребята в Дачжае смогли на обрывистых горных склонах сделать ровные террасы и собирают с одного му больше, чем на Хуанхэ, а мы до сих пор не убрали с полей несколько маленьких островков солончака; почему мы все еще делаем так мало? Почему? Почему? Ты задумывалась?

– Я? О чем думаю? – Шерингуль не поняла вопроса Абдурахмана. Вот именно сейчас этот вопрос был неожиданным и даже немного смешным.

– Я тоже не думал. А брат Ильхам думал, – растерянность Шерингуль не повлияла на настроение Абдуллы, он продолжал говорить о том, что ему давно надоели самодовольные рассуждения илийцев о яблоках и тополях: уже пятнадцать лет как пришло Освобождение, у нас-де должны быть новые достижения, под стать новой великой социалистической эпохе. Нужны смелость и воля, надо преодолеть самолюбование и кичливость, закоснелый консерватизм, преодолеть ограниченность и поверхностность во взглядах, идущие от мелкоземельного уклада. Надо учиться у Дачжая...

Абдулла с большим воодушевлением стал рассказывать о Дачжае. Он говорил горячо, искренне, торопливо и сбивчиво, в глазах сверкали искры, уголки рта напрягались, выказывая решимость и силу. Поначалу Шерингуль беспокоилась, что из-за своих речей он не сможет спокойно, нормально, с удовольствием поесть, пока все горячее, и то и дело перебивала его, напоминая, что ему надо бы сосредоточиться на еде, но потом она сама заразилась его радостью – так восторженно говорил Абдулла, с такой верой открывал ей душу.

Постепенно его слова стали доходить до нее: его сердце было устремлено к народной коммуне, оно было нацелено на дело коллективизации... В далекой провинции Шаньси есть большая коммуна «Дачжай»; там много гор, много камней, жизнь трудная. Однако местные братья-ханьцы, работая с поразительным мужеством и упорством, добились блистательных результатов. Сияющая слава Дачжая освещает сердца уйгурских крестьян в Или, озаряет лежащий перед ними путь. Абдулла говорил, и раскрывался-разворачивался огромный новый мир – намного больше, просторнее их маленького домишки, великий и славный – гораздо более прочный и весомый. Весь день упивавшаяся своим маленьким домиком Шерингуль перед лицом такого возвышенного и богатого мира невольно почувствовала некоторое смятение. Она вспомнила свой туповатый ответ и невольно устыдилась.

– Да, да! – она кивала, скрывая улыбку. Шерингуль еще не знала, какими словами ответить, чем поддержать пылкость и устремления Абдуллы, но не могла же она оставаться безучастной, не могла оставаться где-то далеко позади, за его спиной! И она стала выражать свое согласие возгласами. Как ей хотелось, чтобы именно в эту минуту Абдулла заключил ее в свои объятия, прижал, нежно поцеловал... Если бы в эту минуту Абдулла подошел к ней, это было бы так же хорошо, как если бы он свозил ее в Шаньси, в Дачжай.

– Завтра же вместе пойдем на работу, Шерингуль.

– Да, да! – влажными, как речная вода, глазами она смотрела на Абдуллу, ее губы шевельнулись: – Дачжай... – радостно выдохнула она.

– Есть еще одно дело, мне надо с тобой посоветоваться... – Абдулла сказал это с такой же страстью...

Но он не успел договорить. Его перебил какой-то звон. Потом – стук в дверь. Кто-то торопливо позвал:

– Шерингуль!

Такое знакомое дребезжание старого разбитого велосипеда, такой знакомый, немного комичный выговор, эта не совсем привычная в деревне манера стучать перед тем, как войти. При виде этого удивленно-радостного лица Шерингуль и Абдулла сами расплылись в улыбке, оба одновременно вскочили и разом сказали:

– Да входи же! Входи скорей!

Вошла, конечно же, Ян Хуэй. Ее выцветшая красная головная повязка, цветастая накидка на ватной курточке и синие холщовые рабочие штаны уже были чистыми – успела отряхнуть, но на оправе очков еще лежала толстым слоем пыль: девушка-техник много сегодня трудилась. Она, как обычно, по-уйгурски (хоть и не совсем верно произнося) поспешно поприветствовала хозяев. Она всегда спешила; уж сколько лет прошло, а в этой коммуне никто так ни разу и не видел, чтобы Ян Хуэй спокойно сидела где-нибудь и отдыхала или неторопливо прогуливалась. Пожимая руки хозяевам, она успела рассмотреть комнату и с одобрением сказала:

– Хорошо! Красиво! – и тут же добавила: – Ах, у вас так жарко!

– Садитесь, пожалуйста, к столу! – хором сказали Шерингуль и Абдулла.

Абдулла уступил место во главе стола. Ян Хуэй с радостью уселась. Бросив взгляд на лапшу, которую ели хозяева, она заявила:

– Вы ешьте как ели. А мне просто дайте наан.

– Почему? – не поняла Шерингуль. Она указала на длинный деревянный поднос, в котором лежала лапша – уже сваренная, промытая, длинная тонкая белая сверкающая лапша. – У нас лапши еще много; или вам не нравится?

Убедившись, что ее приход не заставит хозяев уменьшить свои порции, Ян Хуэй согласилась на лапшу и тут же удивленно сказала:

– Ой, вы на двоих так много приготовили!

– Вкусного можно и побольше наготовить – всегда может хороший человек прийти поужинать с нами, – пояснил Абдулла.

– Ну тогда спасибо вам большое – и накормили, и похвалили... Честно говоря, я с утра вроде как не садилась и ничего не ела. А, да! В Шестой бригаде съела две печеные картошки...

Ян Хуэй ела много и быстро, успевая при этом нахваливать кулинарное искусство Шерингуль.

– Сестра Ян Хуэй! Если вам и правда нравится моя лапша, приходите каждый день к нам, а то в столовой коммуны плохо готовят. Я знаю, вы с Юга, я для вас в следующий раз сделаю рис!

– Только в следующий? Не говорите, что нельзя приходиться каждый день, и – еще посмотрим, может, я и не дам вам готовить! – Ян Хуэй расхохоталась, она смотрела на Шерингуль, и лицо ее сделалось хитрым и смешливым.

– Мне? – Шерингуль удивленно захлопала длинными ресницами.

Ян Хуэй перестала улыбаться и доброжелательно, серьезно сказала:

– Я пришла к вам по делу. Вы ведь знаете, что рядом с Шестой бригадой раньше была молочная ферма воинской части? – теперь ее нет, расформировали, а землю отдали коммуне. Партком коммуны решил устроить там опытную техническую станцию, начальная задача – размножение хороших сортов, проведение опытов по реформе агротехники и мелиорации. Мы думаем взять туда из каждой большой бригады одного-двух молодых, хорошо думающих, культурных членов коммуны – работать и учиться научным методам ведения сельского хозяйства, как учеников опытной станции и в то же время как технических специалистов. Числиться они будут по-прежнему в своих больших бригадах. Их рабочее и учебное время на опытной станции будет компенсироваться большим бригадам из доходов самой опытной станции, а большие бригады будут по-прежнему этим людям начислять трудовые баллы. Ну как? Хотите?

Шерингуль не знала, как ответить, она вопросительно посмотрела на Абдуллу.

– А Турсун-бейвей...

– Ну как же я могла не подумать о Турсун-бейвей, – удивилась Ян Хуэй. – Она – секретарь комсомольской ячейки большой бригады, комитет комсомола коммуны ее избирает и туда и сюда, все выше и выше... А у Дильнары сейчас маленький ребенок; на эту работу можно только тебя, Шерингуль, – Ян Хуэй встала, полюбовалась на развешанные Шерингуль картинки. – Я думаю так: когда много сельхозработ и когда совсем затишье, надо будет жить там – потому что на опытной станции обучение будет коллективное, а в остальное время можно каждый день возвращаться в бригаду, домой. Ну что, Шерингуль, решишься оставить свой миленький-красивенький, тепленький-уютненький дом? – она обернулась и посмотрела на Шерингуль и Абдуллу. – Если не хочешь – ничего страшного, я не расстроюсь. И да, вы ведь только что поженились; надеюсь, Абдулла не станет сердиться из-за того, что я хочу увести Шерингуль?

– Нет-нет! – Абдулла подбадривающе смотрел на Шерингуль. – Говори скорей!

– А я подойду? – покраснев, спросила Шерингуль у Ян Хуэй.

– Ну конечно! Ваша рабочая группа по охране растений добилась больших успехов, вы пунктуальная, добросовестная, во все глубоко вникаете – как раз такие и нужны, это самое важное для технолога: ни одной мелочи не пропускать, добросовестно во всем разбираться. Если вы согласны, я сразу включу вас в заявку большой бригады. А не согласны – не будем заставлять...

– Почему это «не согласна»? – не выдержал наконец Абдулла. – Шерингуль, разве ты не хочешь? Не хочешь учиться, не хочешь сделать больше?

– Я? Конечно хочу!

– Вот и хорошо! Вы еще посоветуйтесь, а завтра дадите мне ответ. Я пошла.

Ян Хуэй, улыбаясь, распрощалась с ними. Опять звонок – она выкатила свой разбитый мужской велосипед к воротам, забралась на него и при свете звезд, покачиваясь из стороны в сторону – чтобы при своем маленьком росте доставать до педалей – стала постепенно удаляться и скоро исчезла в ночной темноте.

– Что ты так тянула с ответом? Надо было сразу соглашаться – это же такой шанс! Ты станешь нашим агротехником, нашим ученым – сможешь внести большой вклад в строительство новой деревни, поможешь нам учиться у Дачжая!

– Я ждала, пока вы скажете!

– А что я скажу? Разве в твоих делах я хозяин?

– Но если я буду все время на опытной станции, я же не смогу вам готовить еду!

– О чем ты говоришь? – засмеялся Абдулла. – У меня разве рук нет? Неужели без тебя я буду голодать?

– Но все-таки... – Шерингуль задумалась, – все-таки я хочу для вас готовить... – она не стала продолжать. Она понимала, что Абдулла совершенно честно, искренне, всем сердцем хочет, чтобы она работала на опытной станции, училась на агротехника. Меняя тему разговора, она спросила: – Вы только что говорили, что хотели обсудить одно дело?

– Да. Брат Ильхам говорил, что этой зимой надо как следует взяться за обустройство полей и внесение удобрений. Надо будет организовать людей и конный транспорт, ездить в Инин чистить уборные и привозить фекалии; а у нас, илийцев, нет привычки использовать человеческие экскременты – так много ценного удобрения пропадает впустую. Брат Ильхам говорил, что мы не можем полагаться на естественное плодородие почв, надо всеми силами изыскивать источники удобрений... Я уже записался.

– Вы? – не сдержалась Шерингуль.

– Вам-то не надо будет мараться! Экскременты – грязное дело, но на полях это драгоценность! Брат Ильхам беспокоится, что некоторые не захотят делать такую работу, а я готов! – сказал Абдулла и добавил: – Ты не беспокойся, я буду следить за гигиеной – чем грязнее работа, тем чище надо быть самому!

– Поезжайте! Поезжайте! Если на пользу производству, то я за. Но если так, то я поеду на опытную станцию, вы приедете из города, привезете удобрения – а печка холодная, в кастрюлях пусто...

– Опять о еде! Вай-вай! Ай, моя Шерингуль! Я же говорил – я не такой мужчина, который после работы будет тупо сидеть на кане и ждать, пока жена обед приготовит, на стол накроет и есть позовет. Мы же члены коммуны: если где-то дел много – надо туда, помогать, а кто первый домой вернулся – тот и разводит огонь и готовит еду! Завтра я тебе приготовлю ужин – посмотришь, как я управляюсь!

– Люди смеяться над нами будут!

– Это над ними надо смеяться! – Абдулла возвысил голос. – Они живут в новом, социалистическом Китае, а мозги как у столетних стариков – одни ядовитые пережитки тысячелетнего феодального прошлого! Какие же вредные эти старые привычки!

Шерингуль ничего не сказала, подошла к печке и щипцами поворошила рдеющие угли, стряхнула золу; огонь запылал ярче, загудел, языки пламени потянулись вверх. Шерингуль сняла свою безрукавку – на вате, с верхом из черного панбархата, едва слышно спросила:

– Вы сердитесь? Брат Абдулла... Из-за чего? Вы вчера не разрешили мне вас разувать по старому обычаю, как положено после свадьбы... Мне так неловко...

– Ай-ай-ай! – рассмеялся Абдулла. – Ты знаешь про Лю Хулань, про Дачжай, ты умеешь писать по-уйгурски, а совсем скоро станешь агротехником большой бригады – но... но... как же это сказать? – это же суеверия, глупенькая моя!

Ночь, все стихло. В долине реки Или медленно падал первый снег зимы 1964 года.

С этого дня молодые супруги Шерингуль и Абдулла стали употреблять секретное, лишь им одним понятное слово. Когда Абдулла поздно вечером возвращался домой, после ужина они с Шерингуль вели нескончаемые разговоры: о ходе подготовки роты народного ополчения большой бригады, о том, что надо учиться у Дачжая, о том, какие молодцы муравьи, медленно, но верно грызущие даже кость... и в разгаре беседы Шерингуль тихонько шепчет: «Дачжай... я хочу в Дачжай...». Или когда Абдулла воодушевленно, обстоятельно, пламенно-горячо говорит, а Шерингуль осуществляет «четыре чистки»: подметает, моет пол, стирает, моет посуду – Абдулла вдруг напомним: «Скорей заканчивай и иди сюда – я расскажу тебе о Дачжае...» Дальнейший пейзаж не нуждается в словах. На селе говорят метко: если получил что хотел – слова не нужны, если поймал рыбу – откладывай сети. Ну а если и получил что хотел, и рыбу поймал? Тогда, наверное, можно забыть про весь мир – ну, кроме Дачжая, конечно...

## Глава двадцать третья

### Майсум идет искать деда

#### Вернувшийся «оттуда» Латиф и судьба двух голубят

#### Эти люди всегда где-то рядом

Коммуна имени Большого скачка – одна из тех, где зимой и весной этого года проходит кампания по социалистическому воспитанию. Рабочие бригады это затронет в первую очередь, и неудивительно, что эта новость вызвала самые разные толки и ожидания. Майсум знал об этом от «деда» заранее и уже начал действовать, готовился, но все-таки чем ближе был старт кампании в рабочей бригаде, тем больше он волновался, тем больше его это пугало. Да к тому же и международная обстановка в последнее время...

Особенно после того, как этого лысого внезапно сняли и, по слухам, запретили ему «участвовать в открытых дискуссиях», навесили ярлык «капитулянта». Что вообще происходит? Если так дальше пойдет, то когда же они, наконец, придут? в каком месяце, в каком году? Он тут терпит унижения, живет, можно сказать, украдкой, кланяется налево и направо и влачит горькое существование – доколе? до какого века нашей эпохи? Как только он начинал думать об этом, ему сразу делалось нехорошо: будто кто-то пронзал ему сердце острым шилом и подвешивал коптиться на медленном огне...

В воскресенье он, держа двух белоснежных голубей, отправился к своему «деду» – к Алимамеду.

Тридцать лет назад Абас, отец Майсума, был известнейшим богачом в уезде Суйдин. У Абаса было больше тысячи мер земли, пятнадцать водяных мельниц, два больших фруктовых сада, угольная шахта, два торговых магазина и множество повозок, домов и скота. У тамошних крестьян даже ходила песенка:

*Вода из арыка исчезает в полях,  
В пустыне Гоби река пропадает.  
Все наши деньги – в байских сундуках,  
Красавиц всех один Абас ласкает...*

Абас с молодости вел распутный образ жизни: пил, играл в азартные игры, любил охоту, курил гашиш. По мусульманским законам официально он взял себе семь жен, а женщин «позабавиться» у него было больше, чем волосков в бороде. За это его прозвали Быком; все женщины от пятнадцати до пятидесяти трепетали от страха перед ним. Но в 1939 году, когда Абасу было пятьдесят шесть, его вдруг поразил тяжелый недуг; сверху рвало, снизу лилось, бросало то в жар то в холод, четырнадцать дней кряду он пролежал без сознания; в основании шеи и на животе вздулись три огромных фурункула величиной больше грецкого ореха, сочащиеся кровью и гноем, болели они нестерпимо. Приглашали всех, кого могли в то время пригласить, самых разных ученых врачей и обманщиков-шарлатанов; мазали змеиным жиром, натирали самородным медным купоросом, давали пить отвар семян лисохвоста, делали обертывание всего тела в яичных желтках.

Самый последний пришел, как он сам сказал, из Хотана – не то знахарь, не то шаман, читал священные книги, плясал, зарезал петуха (чтобы переместить злых духов из тела больного в тело птицы, а потом убить ее, уничтожить) и еще раздел Абаса догола и хлестал его ивовыми прутьями, чтобы прогнать бесов. Абас был не то жив, не то мертв, барахтался на этой грани четыре месяца, можно сказать, из могилы выбрался. Прошло еще полгода – и он стал выходить из дома.

То ли тяжелая болезнь и страх смерти на него так повлияли, то ли наркотики, которые он долго принимал, – только Абас стал другим человеком. Высокий, сильный, никогда не уступающий никому злодей-разбойник, развратник Абас теперь ослеп на один глаз, сгорбился, втянул голову в плечи и постоянно покачивал ею (сельчане верят, что старики раскачивают головой, потому что в молодости ели слишком много утиного мяса: ведь утки двигают головой и шеей точно так же), руки у него дрожали и тряслись. Любитель распевать распутные песни и рассказывать похабные анекдоты, Абас теперь стал говорить неразборчиво и невнятно, как будто дул на горячую картофелину.

Прошрое распущенное житье было отброшено за седьмое небо, а с детства вдалбливаемые заповеди и наставления вдруг стали как никогда ясны, священны и сильны. Он больше не погружался в буйство кутежей, даже еда перестала доставлять ему удовольствие. Он не только перестал бросать косые взгляды на женщин, но даже самого любимого, единственного своего сына больше не ласкал: он все время думал о смерти, о душе, Коране, небесных чертогах и море бедствий – то есть аде. После болезни Абас днем и ночью говорил и думал об одном: пойти в Мекку, увидеть Каабу – совершить хадж, паломничество, одно из пяти обязательных предписаний ислама, исполнить этот самый последний, самый почетный долг мусульманина. Прошло еще два года, он наконец завершил все приготовления, продал две трети всего имущества, накупил верблюдов, коней, взял с собой достаточное количество денег на дорожные расходы, необходимые вещи, нанял слуг – и еще устроил невиданный в уезде по размаху назыр. Несколько сот баев, старост, ходжей, беков, кази, мулл и имамов приняли участие в прощальном пире; из ближнего Хочена и далеких Цзинхэ и Чжаосу приехали дорогие гости проводить его и вместе с ним вознести молитву; из подарков одних только китайских и иностранных монет набрался туго набитый мешок.

Потом Абас торжественно простился. Несколько месяцев спустя говорили, что видели его в Южном Синьцзяне, в Каргалыке. Через год передавали, будто он прошел Индию и направлялся на запад, к Красному морю. С тех пор о нем известий не было. Только в разговорах стариков можно было иногда услышать о прошлом: Бык – бай – больной – святой паломник.

Шесть жен, которых взял Абас, родили ему четырнадцать дочерей, но ни одна не родила сына. И так было, пока он в сорок два года не женился в седьмой раз – на пятнадцатилетней девушке, так что «тесть» был моложе его на шесть лет – мастер, делавший рисунки для окраски ковров. Через три года появился на свет Майсум.

Когда Майсуму исполнилось десять лет, его отдали в медресе – изучать Коран, при школе он и жил. Абас всеми силами воспитывал единственного сына так, чтобы он стал почитаемым муллой, ученым человеком. Абас говорил: «В свои немалые года я обрел тебя, милого моего сына, ты появился на свет, ты – мое богатство; все это – ниспосланная милость Худая. Люди боятся меня, заискивают передо мной, ходят вокруг кругами, угождают, дрожат; но нет никого, кто по-настоящему уважал бы – потому что я нутром темен, нет на груди ни единого пятнышка туши: я ничему не учился! Богатство – это маленькая птичка; ты не можешь всю жизнь сжимать его в ладони, чуть шевельнешь не так пальцем – и богатство, как птичка, улетит, не оставит ни тени, ни следа. При игре в бараньи кости трудно их бросить так, чтобы они стали стоймя, а плашмя они падают легко; так и богатство: копить его трудно, а разбросать и потерять – быстро и просто. Но есть богатство, которое не потеряешь, которое не украдут,

не отнимут – это знания. Хорошенько учись, палки сделают тебя человеком<sup>1</sup>. И помни, что ты – потомок Абаса, великого человека.

И все-таки Майсум не оправдал надежд отца; полная упорного труда жизнь в медресе, каждодневные бесконечные занятия совершенно не совпадали с его желаниями, а жестокие телесные наказания опустошают душу непослушных подростков и толкают их на беспорядочные, а иногда и разрушительные действия. Среди будущих мулл, получающих ежедневную порцию палок, попадаются особо строптивые и непокорные, по делу и без дела проявляющие свой характер. Майсум просуществовал в медресе год – как в крошечном мраке, из последних сил, а когда ему исполнилось одиннадцать, поверг всех в изумление: прикинулся душевнобольным. Сперва он, приехав домой, перед отцом и матерью полночи притворялся, что бредит и говорит во сне; он издавал такие жалобные стенания, что волосы становились дыбом; когда говорил, начинал об одном, а заканчивал совсем о другом; но все крутилось вокруг страха, и непонятно было, что именно его так пугало. Потом и среди бела дня он стал специально произносить совершенно непонятные речи и совершать непонятные поступки, принимать странное настроение и выражение лица. Он обманул почти всех окружающих и даже сам за эти несколько дней немного запутался, уже не понимал: то ли он нормальный и выдает себя за психически нездорового, то ли он действительно потерял душевное равновесие, но думает, будто только притворяется... В итоге он не доучился, бросил-таки учебу.

С малых лет Майсум был окружен любовью и заботой, ему во всем потакали – и он с самого детства осознавал свое особое положение и преимущество перед другими. Когда ему было пять лет, нянька повела его гулять в яблоневый сад, а он вдруг ни с того ни с сего заплакал – как раз отец проходил мимо, он тут же достал плетень и одним ударом повалил няньку наземь, вся голова и лицо у нее были в крови. Майсум был напуган; но вместе с тем он почувствовал какое-то особое удовольствие – и засмеялся.

Но когда ему было тринадцать и отец уехал в хадж, в его жизни произошла резкая перемена. Шесть «старших мам» и полтора десятка сестер, которые были даже старше его собственной матери, растащили оставшееся имущество дочиста – по исламским законам дочери тоже имеют право наследования. Матери Майсума пришлось снова выйти замуж – на этот раз за сапожника. Сапожник-отчим хотел, чтобы Майсум учился шить и чинить обувь. Майсум же этого не хотел. Он не выносил вони от кожи и старых туфель. Он портил обувь и кожу, ломал шила и иглы. Отчим в сердцах дал ему две самые обычные оплеухи – которых Майсум с самых малых лет никогда не получал, – и он в порыве гнева сбежал. Глава семьи соученика Майсума по медресе помог ему найти место в канцелярии гоминьдановского правительства уезда; ему тогда было всего шестнадцать лет. Когда пришел 1944 год и Майсуму было уже девятнадцать, народ трех районов – Или, Тачэна, Алтая – восстал против Чан Кайши и Гоминьдана, вспыхнула народно-демократическая революция – и Майсум снова переметнулся, вступил в национальную армию. Поскольку он был «из интеллигенции» и человек неглупый, то очень скоро стал батальонным офицером. После мирного освобождения Синьцзяна в сорок девятом Народно-освободительная армия и Национальная армия объединились, Национальная армия стала частью Народно-освободительной. В 1951 году Майсум стал офицером Народно-освободительной армии. Потом демобилизовался и был направлен в уезд начальником отдела.

Должность начальника отдела окрыляла. Кто первый пришел – того и базар. В двадцать четыре года – начальник отдела, он пришел первым. Начальником уезда может стать самое позднее в тридцать. В тридцать пять лет, возможно, будет начальником округа. Тогда к сорока – плюс-минус – он станет руководящим работником первого уровня в провинции. И все совершенно реально, потому что в этом далеком краю, посреди усердно работающих, простоватых,

---

<sup>1</sup> В школе нерадивых строго наказывали. – Здесь и далее – примеч. авт.

прямодушных казахов-пастухов и уйгуров-крестьян он ощущал себя верблюдом в овечьем стаде.

Первое время после перехода на гражданскую службу его дела шли как нельзя лучше. Жену звали Гулихан-банум – высокая, стройная, с очень смуглым лицом, бирюзовыми глазами и взглядом, как струящаяся вода. Гулихан-банум была узбечка. Поэтому Майсум при заполнении анкеты и просто в разговорах тоже назывался узбеком, а потом стал говорить, что он татарин. Глубоко в душе он считал, что уйгуры – народ глупый, невежественный, низкопробный и нецивилизованный; только выдавая себя за узбека или еще лучше – татарина, он со своей высокородной кровью мог бы соответствовать своему нынешнему положению.

У него были дом с большой верандой, фруктовый сад, одежда из хорошего сукна и шапка из меха сурка; в серьгах жены сверкали настоящие, купленные в Или на черном рынке рубины. Множество гостей – в том числе частные торговцы, ахуны<sup>2</sup> и друзья-родственники заключенных под стражу, – держа подарки на вытянутых руках, «навещали» его; столы в доме всегда были заставлены бокалами и блюдами, было полно гостей и приятелей. Майсум с детства взращивал в себе стремление быть выше, не как все, и жить в свое удовольствие; эта глубоко пустившая в нем корни мечта начала осуществляться, она заставляла еще больше стремиться к превосходству и наслаждениям.

Когда веселье заканчивалось и гости расходились, он часто вспоминал детство и особенно – пропавшего отца. Отец ушел в хадж, и после этого не было от него ни письма, ни вести, но величественность и достоинство его постепенно возрождалось в сыне. Множество воспоминаний вернулось: богатые пиры и мешребы. Слуги бегали между гостей с кашгарскими узорными бронзовыми кувшинами, поливая на руки – какой же пир без этого! Ведь уйгуры любят есть руками и постоянно их моют, хотя столовой посуды и приборов у них предостаточно; по столам струились мясной сок и вино; кубки переходили от одного к другому, бутылки вина стояли и лежали повсюду. Были еще танцы до рассвета – татарские, пьяные, сопровождавшиеся дикими и непристойными криками.

...На Курбан-байрам резали быков и баранов, пригоршнями разбрасывали медные деньги – садаку, милостыню; громко дудели в зурны, лица музыкантов от натуги были цвета коровьей печени... Летом охотились – с соколами и собаками, ездили в горы. Они с отцом ехали верхом на лошадях, а босые слуги бежали следом... И еще азартные игры! Замершее дыхание, выпученные глаза, брошенные кости, дикий вскрик, перекошенное, посеревшее как у мертвеца лицо, крупные, как горох, капли пота на лбу... В каком году, под какой луной Майсуму доведется вновь пережить такое беспредельное, такое пронзительное счастье?..

В 1954 году образовался Или-Казахский автономный округ, по всем уездам созывались собрания народных представителей, официально учреждались народные собрания всех уровней. Майсум почти наверняка – девять из десяти – должен был стать начальником уезда. Один из заместителей начальника округа уже говорил с ним, близкие приятели уже поздравляли его. Сам он по изменившемуся вниманию окружающих, по их заискивающим взглядам и желанию сблизиться тоже чувствовал, что повышение совсем близко. Ну никак нельзя было предположить, что собрание представителей выдвинет кандидатом в начальники уезда какого-то кадрового работника из народной коммуны – бывшего пастуха! не очень образованного, невзрачного... Там наверху просто сошли с ума! Делегаты сошли с ума! Весь мир сошел с ума! Да он сам сейчас от ярости сойдет с ума! Этот замначальника округа обманул его, все «близкие друзья» обманули, это коммунистическая партия его обманула! Талантливый оратор, образованный, представительный, харизматичный, с острым умом – чем он, Майсум, уступает этому пастуху, деревенщине?! Начальник уезда разъезжает по полям на джипе, а он, бедный начотдела... Вскоре после этого за нецелевое использование общественных средств и взяточни-

<sup>2</sup> Ахун – богослов, ученый мулла.

чество, за покрывательство контрреволюционных элементов... В общем, Майсума подвергли критике и вынесли ему предупреждение (все потому что этот, из его отдела, сотрудник ханьской национальности, чтоб он сдох, написал на него заявление и обломал ему все планы!) – так он и не стал начальником уезда.

Майсум очнулся от своего сна и понял, что просто попался на эту уловку – ради крошечной – с горошинку – чиновничьей должности готов был на все, топтался, метался, утратил самоконтроль и вообще вел себя как суетливая негритянка перед свадьбой. Счастье, которого он так жаждал, удовлетворение и радость – они ни на чуточку не стали ближе и, что еще печальнее, что еще больше бесит – похоже, что и сейчас, и потом, и вечно так и останутся недостижимыми.

Он стал нервным и подавленным. Он всех возненавидел – начальника уезда, замначальника округа, приятелей и даже Гулихан-банум. А больше всего он ненавидел сотрудника-ханьца, написавшего донос. Все беды – от этих кадровых работников ханьской национальности! Если бы они не притащили с собой какой-то социализм, если бы они могли сравнить его способности и способности этого – пастуха! сравнить их методы... Да как их вообще можно сравнивать!

Таким вот образом этот стыдившийся признавать себя уйгуром господин постепенно превратился в защитника уйгурских национальных традиций, стал представителем уйгурского народа. В 1956 и 1957 годах он не скрываясь выступал с резкой критикой партийной политики в национальном вопросе, кадровой политики и кооперации в сельском хозяйстве; он со злобными, ядовитыми речами нападал на единство уйгурского и ханьского народов. В результате оказалось, что он снова ошибся в оценке ситуации: руководство партии не развалилось, а вот самого Майсума подвергли трехдневной критике.

Майсум посерел и совсем сник. Его плоское бледное желтоватое лицо казалось совершенно бескровным. Брови были постоянно сдвинуты к переносице, на которой пролегла глубокая складка, и только при посторонних на лице Майсума появлялось подобие смиренной улыбки. Сердечные друзья прошлых дней больше не приходили, в бездетном доме было тихо, как в могиле. В один из дней после жатвы он увидел на пшеничном поле одинокий кустик актукана – белой колючки – и расплакался: он думал о своей судьбе, об одиночестве; вот так же и он сохнет – скоро умрет, хоть и ошетинился колючими иголками, как этот жалкий кустик...

В ту ночь он, обычно боявшийся жены, до полусмерти избил Гулихан-банум за одно не понравившееся ему слово. Он пешком пришел в город Инин; когда рассвело, он был уже у винного магазина, где купил литр водки – и тут же выпил, не останавливаясь, расплескивая на лицо, подбородок, шею, намочив рубашку и даже штаны. Земля и небо завертелись, он еле держался на ногах; навстречу шел какой-то человек, по одежде – кадровый работник; Майсум бросился на него с кулаками, но сам рухнул на землю, словно пустой мешок; его рвало белой пеной, он ничего не соображал.

Майсум очнулся: голубой потолок, алый ковер на стене, резные деревянные ставни и двери, длинные шторы с вышитыми цветами. Что это за место? Он хотел сесть, но не было сил. Открылась дверь, Майсум скосил глаза – посмотреть, и кровь его похолодела: вошел звериного вида хромой, шея его поросла черной шерстью, а за ним – большая черная собака. Хромой глянул на него и спросил:

– Вы проснулись?

Майсум хотел ответить, но не мог произнести ни звука.

Через какое-то время вслед за хромым пришел изысканно одетый молодой человек, на верхней губе у него только начинали расти небольшие светлые усики; он улыбался.

– Как вы себя чувствуете? Уважаемый брат Майсум...

Майсум испугался:

– Вы... меня знаете?

– Можно сказать, мы давно знакомы. Аксакал мне давно рассказывал о вас.

– Аксакал? Какой аксакал? Кто такой аксакал?

Молодой человек продолжал улыбаться, не отвечая на его вопросы. Сказал только:

– Это аксакал – дедушка – привез вас сюда. Он велел мне сказать вам, что не следует так поступать. Вы – элита и надежда уйгурского народа. Дедушка также велел рассказать вам историю. Один правитель показал на свое лицо, а потом показал на свою голову. Очень много министров не могли отгадать его загадку – и отправились за это на виселицу. Потом к правителю пришел какой-то плешивый, с язвами на голове. Правитель показал на свое лицо – а плешивый показал на свое горло. Правитель показал на свою голову – плешивый показал на свой высунутый язык. И он стал главным министром. Вы слышали эту историю? Вы ее понимаете?

Эту историю Майсум смутно припоминал, он подумал и сказал.

– Может быть, имеется в виду, что слова «горло» и «голова» в уйгурском языке, так же как «взяточничество» и «ненадлежащие траты», связаны с корнем глагола «есть», поэтому горло – символ алчности. Из-за нее человек теряет лицо, а из-за языка теряет голову?

– Смотрите, как вы мудры; и еще дедушка велел сказать, чтобы вы не падали духом, не теряли надежды: дней впереди много, как говорится. О вас будут заботиться, вас будут оберегать. В нужное время вам придется пожертвовать кое-чем из ваших близких друзей недавнего времени... – Молодой человек не отвечал на расспросы Майсума, он говорил только свое: – Через некоторое время мы вместе подкрепимся, потом вы немного отдохнете – и можно будет возвращаться. В дальнейшем не приходите сюда и не ищите нас. Если будет необходимость, я вас навещу – вы ведь будете рады?

– Конечно, буду рад, – у Майсума голова все еще шла кругом. – Но вы, по крайней мере, должны сказать мне – как мне вас называть?

Молодой человек на секунду задумался в нерешительности.

– Меня зовут Латиф.

...Майсум вернулся в свою ипостась. В соответствии с указаниями «дедушки», которые ему передал Латиф, он взбодрился и собрался с духом. С большим красноречием, ожесточенно и с избыточным энтузиазмом он с соплями, слезами и тяжелыми вздохами анализировал и критиковал собственные ошибки. В то же время он инициативно, безжалостно, исчерпывающе и всесторонне препарировал двух своих ближайших друзей – и произвел подробный анализ этого вскрытия. Обличая и осуждая этих двоих, он покраснел, голос его дрожал – но только от переполнявшего его «справедливого гнева». Первопричиной всех его ошибок, по его словам, были эти двое; он сам вроде как изначально был чистый ангел, невинное дитя, а все беды – результат соращения этими двумя чертями. Он болел сердцем, он раскаивался, бил себя в грудь и громко восклицал; в горячке гнева и ненависти он чуть не упал в обморок. И действительно, все это сработало: рабочая группа объявила его классическим примером возвращения на правильную стезю. Тех двоих молодцев подвергли наказанию, а Майсум по-прежнему остался членом партии и начальником отдела.

Прошло полгода, прошел год, и еще полгода; за все это время от Латифа и деда не было ни звука. Кто такой дед? Как это он так про него все знает и еще помогает ему? Майсум никак не мог найти концов. Может – тот старец, что живет в мечети напротив? Но он уже плохо видит и слышит, говорит малопонятно. Может быть, директор школы в уезде? – он такой почтенный, уважаемый... Несколько раз пробовал завести с ним разговор; директор школы говорил – как будто читал газетную колонку комментариев от редактора. Странно! Неужели это он тот незримый посланец небес? Тот, который сидит на левом плече? Ну да, уйгуры верят, что у каждого человека на правом плече сидит ангел, ведущий учет всем добрым делам человека, а на левом – другой, записывающий плохие поступки. Но откуда он так хорошо все знает о Майсуме? Даже то, как в свое время он сомневался в здравости своего рассудка... Уж не выбол-

тал ли сам в пьяном бреду? Майсум несколько раз ездил в Инин, думая найти тот загадочный дом: он помнил, что перед воротами был большой арык, а вдоль арыка густо росли невысокие, как кустарник, ивы... Ворота были плотно закрыты, запоры – в пятнах ржавчины. Сбоку от ворот – высокое крыльцо со ступеньками, карниз в виде арки, выкрашенная синей масляной краской дверь, за ней – сумрачный неосвещенный проход... Но он не осмелился: вспомнилось предостережение Латифа; а еще больше – тот заросший черными волосами хромой с угрюмым лицом и шедшая за ним страшная собака. Здесь было еще кое-что, о чем Майсум пока не знал, – недоброе, к чему люди не смели приблизиться...

Осенью 1961 года он должен был отправиться в коммуну Большого скачка «выпрямлять работу»; за день до отъезда к нему верхом на осле приехал бродячий лекарь; у него была очень аккуратная, симпатичная маленькая черная борода, манерами он совершенно походил на странствующего лекаря; и только когда он уехал, Майсум догадался и поразился, одновременно и обрадовавшись, и испугавшись: ведь этим посетителем был Латиф!

Латиф рассказал ему тогда многое о событиях в коммуне Большого скачка, в особенности о Патриотической большой бригаде – о Лисиди и Кутлукжане, о Тайвайку и Исмадине...

Весной 1962 года стала усиливаться подрывная деятельность извне, и под пеплом давно сожженных иллюзий Майсума снова стал разгораться огонь; ему больше не нужно было притворяться, шутить, заискивать, ни к чему было искажать свой облик. Спина его выпрямилась, слова стали резче и грубее, словно весь мир снова лежал у него на ладони. Самое интересное, что двое его старых приятелей, которые в свое время имели большие неприятности из-за его обличений, теперь, как и он сам, тоже были очищены от подозрений – и дружно присоединились к истерии раскола, отступничества, провокаций и ожидания смены власти.

А в этом году Майсум действительно добыл через Общество советских эмигрантов – через Мулатова – документ Татарской автономной республики РСФСР СССР и превратился в татарина: раз уж взялся за дело, то надо его доводить до конца – татарин так татарин. В его представлении татары были вроде как больше европейцы, чем уйгуры. Вроде как еще один повод радоваться.

...И все же он не уехал. О Худай! О судьба! Почему они к нему так безжалостны? Он уже прошел все формальности, купил билет на автобус, за бесценок распродал имущество. Он всюду ходил, прощался, пил на прощание – и подхватил острую дизентерию: понос и рвота, вторая степень обезвоженности; если бы не двенадцать часов под капельницей – глюкоза и физраствор, – точно протянул бы ноги. Когда он вышел из больницы, власти уже приняли ряд мер по противодействию подрывной раскольнической деятельности, его удостоверение советского эмигранта оказалось фальшивкой чистойшей воды – и он никуда не смог уехать...

Это было еще хуже, чем когда в пятьдесят седьмом его осудила рабочая группа. Он хотел броситься в реку Или, повеситься на брючном ремне, выпить крысиный яд.

Он не совершил самоубийство. Он нашел то место, где его «спасли» пять лет назад. Он толкнул калитку на высоком крыльце, вошел в сумрачный коридор, на всякий случай кричал:

– Латиф-ахун!

Вышел человек. Майсум остолбенел от испуга: знакомое лицо, оспины на белой коже, жидкие брови, кривой выступающий нос, крупная родинка на нижней скуле и прядь волос на ней – этот человек пять лет назад входил в ту рабочую группу, которая рассматривала его дело и выносила решение – Алимамед, руководитель компании в управлении торговли округа!

– Я... ошибся дверью, – промямлил Майсум, пятясь к выходу.

– Ошибся дверью? Ну что за выражение! – Алимамед рассмеялся. – Разве мы не знакомы? Входите!

Майсум, поколебавшись, все же вошел в гостиную. В его ушах еще звучал строгий, властный голос Али, который тогда методично и размеренно осуждал его.

– Вы... не смогли уехать? – спросил Али.

– Я... – не зная что сказать, Майсум неловко и беспокойно ерзал, как курица со связанными ногами.

Али едва заметно улыбнулся и сказал дружелюбно и участливо:

– Я хотел было послать человека сказать вам, что лучше не уезжать, но в те дни все было так сумбурно. Они думали только о том, чтобы самим уехать, некого было послать к вам. Так неудачно. Вы были слишком слепы. Вы были как в тифозной горячке, это неправильно.

– Вы говорите, что хотели отправить ко мне человека? Кого? Кто он?

– Какая разница кого? Нам незачем об этом думать. Лучше расскажите о своем положении. Судя по выражению вашего лица – как у женщины во время родов... – Али попробовал пошутить, но, увидев, что Майсум молчит, сказал: – Вы – элита и надежда уйгурского народа. Мы не можем уехать из Синьцзяна, и Синьцзян без нас тоже не может. Даже собака вдали от своего дома лает не так звонко. Но все же – что с вами произошло? – Опять молчание. Али продолжил: – Когда человек жадно глотает, он теряет лицо; когда он много болтает – теряет голову. А если слепо бежать куда-то... – он указал на ноги Майсума, – может случиться большая беда!

– Вы – дед? – выпучив глаза, вскрикнул Майсум.

– Какой дед? – холодно отмахнулся Али.

– Вы – тот аксакал, о котором говорил Латиф? – продолжал Майсум удивленно и радостно.

– Какой Латиф? Я же спрашиваю о ваших делах.

Майсум рассказал о себе. Али качал головой:

– Смотрите-ка, как глупо вы себя вели! Вам следовало быть умнее, не суетиться, как некоторые тыквоголовые. Сейчас все сложилось не очень удачно... Но это ничего. Вы побыли начальником отдела, поели-попили, повеселились, порезвились – теперь пора в деревню: подышать свежим воздухом – он освежит вашу голову и сделает вас гораздо умнее. Что это вы плачете? Что? Все кончено? Ну что за слова! Вы же почти хаджи<sup>3</sup> – для таких у них политика очень мягкая. К тому же все это лишь вопрос времени. Зимой снег укрывает землю, под снегом – земля, в земле спят личинки...

После того, как Майсум стал членом Седьмой производственной бригады Патриотической большой бригады в коммуне имени Большого скачка, он еще дважды ездил к Алимамеду; к этой комнате с голубым потолком и резными деревянными ставнями и дверями, с алым ковром на стене было теперь приковано его сердце.

В это воскресенье Алимамед полулежал-полусидел, прислонившись спиной к стене; в зубах он сжимал пропитанный слюной носовой платок и с горькой миной массировал десну. Увидев вошедшего Майсума, он выплюнул платок и пояснил:

– Зуб болит.

– Вот, принес вам двух голубят – вашим детям поиграть, – Майсум почтительно вручил голубей и добавил: – Вы и сами знаете – мы теперь нищие, нет никакого достойного подарка, уж так неловко...

Алимамед усмехнулся и снова скривился от боли. Он взял в руки вращающего в испуге красными глазками голубенка, погладил его мягкие белоснежные перья:

---

<sup>3</sup> Паломник; человек, совершивший хадж в Мекку

– Какая красивая птичка! – Он пристально разглядывал голубя и постанывал: – Ох! Клянись печенкой, несчастной жизнью своей... Ах! – он отложил голубя в сторону. – Как жаль! Сейчас еще не время баловаться голубями. Потом...

Майсум покачал головой и тяжело вздохнул. Алимамед внимательно посмотрел на него.

– Как же далеко это «потом»! Кто знает, увидим ли мы его?

– Вы потеряли веру!

– Да, веры еще осталось немного, но в то же время очень грустно. Лысого сняли, о войне никто не решается говорить. А здесь взорвали атомную бомбу. Сплошное хвастовство... – сбивчиво заговорил Майсум.

Лицо Алимамеда сморщилось еще больше, и он стал как молотком стучать кулаком по правой щеке, где у него была родинка с длинными волосами, – словно хотел выбить этот больной зуб.

– Говорят, совсем скоро приедет в село рабочая группа проводить социалистическое воспитание, – Майсум сделал жалобное лицо и просительно посмотрел на Али.

– Ну и хорошо, – Али говорил будто через нос.

Взгляд Майсума потух, он тихо и меланхолично сказал:

– Повсюду говорят только о классовой борьбе – о классовой борьбе и еще каких-то трех великих революциях...

– Да, – Али стал немного серьезней и перестал колотить себя по родинке, – ситуация очень серьезная. Целыми днями твердят о том, что ни в коем случае нельзя забывать о классовой борьбе. Но вам-то чего бояться? Истинный владыка бережет вас. Вы каждый день газеты читаете?

– Я не выписываю газет.

– Это почему же? Может быть, вы умеете воровать?

– Что?! Нет, что вы, нет... – Майсум вздрогнул.

– Вы умеете выделывать кожу, ткать ковры, плести циновки, класть печки, сучить пряжу, красить ткани... Нет?

– Нет-нет, вы...

– Не торопитесь. Другими словами, у вас ничего нет. Вы не владеете никаким ремеслом. – Видя замешательство и недоумение Майсума, Али довольно улыбнулся. – Но вы хотите самой лучшей жизни, хотите превосходить обычных людей – а на каком основании? Что у вас есть?

– У меня есть образование, я кадровый работник...

– А вот это правильно, – кивнул Али. – Культура, теория, политика – вот ваше искусство. Вы, я, все мы – политики. Но разве может политик быть настолько близоруким, так отчаяться и разочароваться? Разве он может, как вы, не выписывать газет, не вооружать себя самыми новыми формулировками и лозунгами? Вай-вай-вай, брат мой начальник отдела! Вай-вай-вай, господин Майсум! Неужели среди деревенщины вы понемногу стали такой же по-крысиному близорукой деревенщиной и видите только то, что у вас под носом? – Алимамед прервался, чтобы нанести еще несколько ударов по родинке, под которой пульсировала боль. – Все верно, сейчас говорят о классовой борьбе, хорошо; ни в коем случае не забывать – это не только для них сказано, но и для нас. Из нас уж точно никто не забудет. Мы живем среди бесконечных громких речей, это эпоха громких и пустых слов, одно громче другого, чем дальше – тем больше хвастовства и вранья; а все мы: русские, узбеки, татары, казахи, уйгуры – мы все самые большие мастера громких слов. Казахская поговорка: «Громкими словами можно дойти до неба» – громкими словами можно двигать горы! можно изменить весь мир, изменить вас, меня, можно повернуть вспять течение реки Или! Например: «ни в коем случае не забывать о классовой борьбе» – хорошо, очень хорошо! Однако кто с кем борется? это ведь не то же самое, что две армии выстраиваются друг против друга. Какие-то внутри— и внешнепартийные противоречия и столкновения, какие-то четыре – чистим, четыре – не чистим – тоже противоре-

чия; какая каша, какой омач из них сварится? Я читал какие-то статьи в последнее время, там попадаете такое, что просто страшно! Кадровых работников на селе рисуют такими черными красками! Ну ладно, пусть сами жарят себя в собственном же соку. Вам-то что переживать? Вы же самый простой, обычный член коммуны из народных масс. Вы даже можете быть переводником, вы можете и справа и слева получать выгоду... Классовая борьба расцветает пышным цветом, так что если небо рухнет и земля переворачивается, и никто ничего понять не может – разве это не выгодно для нас? Я ведь это все вам уже говорил. И еще говорил вам, что не надо ко мне часто приходить. Но сегодня вы пришли, – недовольно закончил Али.

– Я себе места не находил, – Майсум приложил ладони к груди.

– Да, главная причина – у вас недостаточно веры, а это для политика очень опасно. Сейчас я хочу, чтобы вы увиделись с одним человеком, он вам скажет то, что вы больше всего хотите услышать... – Майсум стал нетерпеливо интересоваться, с кем он должен встретиться, но Али вдруг повернул разговор в другую сторону: – Спасибо за ваш подарок. Скажите, я могу свободно распорядиться этими двумя голубками?

– Конечно.

– Может, мне следует их отпустить? – Али вопросительно и с издевкой смотрел на Майсума; по-видимому, он хорошо разобрался в этом вопросе: если голубя отпустить, то он полетит назад, к Майсуму домой – «подарок» сам собой вернется, это знают те, кто держал голубей. – Голубь должен быть в небе, рыба – в глубине моря, осел – под наездником, а шакалы и волки – в горных ущельях и густых лесах. – Внезапно он так быстро, что едва можно было уловить взглядом, свернул голубям шеи<sup>4</sup> – и свежая кровь брызнула на их белоснежные перья, на его руки и капнула на край штанины; безжалостно лишенные голов голуби в конвульсиях дергали лапами. – Их поджарят – будет хорошая закуска, можно угостить дорогого гостя, – сказал он и свистнул.

Из внутренней комнаты вышел человек в высоком белом тюрбане, с длинной бородой, в очень длинном чапане, по виду – важный мулла.

Майсум поспешил встать, приложил руки к груди и, поклонившись, поприветствовал муллу-ахуна.

«Уважаемый мулла» не ответил на церемонные слова Майсума как положено, зато сказал очень знакомым голосом:

– Вы меня не узнаете?

– Латиф! – вскрикнул пораженный Майсум.

Латиф приложил палец к губам.

– Вы откуда... Оттуда? – Майсума била легкая дрожь, по всему телу прошла волна – то ли страха, то ли отвращения, то ли радости.

Латиф зажмурил один глаз, поджал губы и тихонько кивнул.

---

<sup>4</sup> Уйгуры, когда готовят голубей в пищу, не режут их, а сворачивают им шеи.

## Глава двадцать четвертая

### Как была убита корова, или никакой выгоды для Нияза

#### Кутлукжан и Майсум меряются силами

Кувахан так спешила, что, входя во двор, забыла пригнуться и стукнулась лбом о притолоку. Она ойкнула, схватилась за голову и только тогда увидела Тайвайку, который сидел на пороге и ерзал от нетерпения. Увидев Кувахан, он поднялся и спросил:

– Так резать или не резать?

– Резать! Резать! Корова так болеет, что вот-вот умрет, а потом люди скажут... – тут она увидела дочку с маленьким братиком на руках, хлопнула ладонью – одной, заметьте! – Я что вам сказала? Почему дяде Тайвайку не налили чаю? Вот маленькая дрянь! Ну что ты за человек...

Девочка дернулась от такого неожиданного выговора, выпустила из рук братишку, тот шмякнулся на землю и заорал, а девочка от испуга заголосила вслед за ним. Кувахан с видом, полным отваги и решимости, бросилась вперед, но Тайвайку удержал ее:

– У меня еще дела, если надо, тогда – быстро!

– Да-да, быстро!

Кувахан спешила еще больше – не обращая внимания на ушибленный лоб и орущих детей, она довольно живо, почти бегом помчалась в хлев и выгнала наружу старую черную корову. Эта самая объявленная больной и приговоренная к смерти корова раскачивала головой, шла не торопясь, с важным видом – будто ей ни до чего нет дела, мотала хвостом, облизывала свой нос и совершенно не догадывалась об уготованной ей злой участи. Тайвайку хоть и видел, что здесь что-то не так, не хотел задавать лишних вопросов. Его задача – зарезать корову.

Когда корова дошла до дальнего угла двора, он махнул Кувахан, чтобы та ушла, снял с пояса толстую веревку, привычно опутал корове ноги, слегка потянул – и корова бессильно повалилась на бок. Тайвайку шагнул вперед, затянул веревку, стал на одно колено, быстрым движением выхватил из голенища сверкнувший острый нож, шаркнул пару раз по голенищу лезвием и длинно затянул:

– Ал-ла-а-акба-ар! – обращался, как положено, к великому Единому владыке перед тем, как резать животное.

Затем Тайвайку профессионально и умело, с холодным, бесстрастным выражением лица провел острым лезвием по коровьей шее, левой рукой держась за рог – раздался легкий хлопок, и пенящаяся, поначалу как солнце красная свежая кровь брызнула на несколько метров; старая черная корова протяжно замычала, ее розовый язык далеко вывалился наружу, глаза вдруг широко раскрылись, заблестели и застыли в одной точке...

Собрание закончилось, люди расходились, Лисиди помахал рукой, подзывая Ильхама и Нияза сесть поближе, и сказал Кутлукжану:

– Давайте вместе обсудим вопрос о корове Нияз-ахуна.

Кутлукжан отказывался:

– Вы поговорите, поговорите! А мне надо еще в мастерские. Я так скажу, Нияз-ахун: умерла так умерла. Корова, она так или иначе все равно когда-нибудь умрет. Да что там корова!

ты, я, твоя-моя – все мы рано или поздно помрем! Не надо так сердиться-обижаться, и бригадир не надо обижаться-сердиться. Это деревня, такие вот дела, хо-хо, хе-хе... – и вот таким образом, одновременно прощаясь, поправляя шапку, всех успокаивая своими приговорками, он и ушел.

– Похоже, у вас к начальнику бригады Ильхаму есть много вопросов, замечаний; давайте поговорим вместе, пусть он тоже послушает, – обратился Лисиди к Ниязу.

– Не о чем говорить! – фыркнул Нияз, и в его голосе была нотка усталости. Что-то не видно было той выгодной для него атмосферы, какую предсказывал Майсум: говорил, все кадровые работники забегают в испуге поджав хвосты. – Я только пришел спросить в большой бригаде – как быть с моей коровой? Вы этим будете заниматься?

– Бригадир Ильхам, вы здесь? – самой Ян Хуэй еще не было видно, а звонкий голос уже долетел до них, и Ильхам отозвался. Распахнулась дверь, и Ян Хуэй, как пулемет, засыпала его упреками: – Хороший начальник бригады! Вызываете меня по телефону, я иду пять километров, а вы спокойненько сидите в конторе, как чиновник, как большой начальник! – но, увидев Лисиди и Нияза, сбавила тон: – Ну и какая теперь программа действий? Корову уже зарезали, а меня зовете ее лечить? чтобы я все органы поместила обратно внутрь, а живот зашила? – говоря это, она толкнула свой чемоданчик-аптечку в сторону Нияза. – Здесь же должны быть не пенициллин и касторка, а душистый перец, имбирь! – чтобы вкусный говяжий бульон варить! – и, обернувшись, снова напала на Ильхама: – Вы же настоящий бюрократ!

Лисиди и Ильхам в недоумении переглянулись – что за чертовщина? – оба одновременно с одинаковым вопрошающим и недовольным выражением лица повернулись к Ниязу.

Ян Хуэй затянула головной платок, поправила очки, потом стала обмахиваться ладонями как веером, словно ей было нестерпимо жарко в этой комнате после проделанного бегом расстояния и пламенной речи. Совершенно не обращая внимания на присутствие Нияза, она продолжала:

– Я пришла в дом этого уважаемого Нияза, но сестра Кувахан не пустила меня. О-е! я еще не видела такого отношения к гостям! Наверное, Кувахан еще помнит возникшую у нее летом «неприятность»? Летом, когда работали в поле, мы организовали женщин на отбор сортов пшеницы, все отбирали по колоску; а наша уважаемая сестра Кувахан швыряла пучками, не разбирая где овес, где ячмень, где дикая пшеница... Хорошо, что я пришла проверить, как идет работа. Я заставила ее все переделать. Говорят, за этот день ей записали только полтора балла, и она за спиной ругала меня. Ругаться нельзя, а работу все равно надо переделывать. Сегодня не пустила меня – так тоже нельзя. Я сказала ей: ваш начальник бригады говорит, что у вас корова серьезно больна, – а если это ящур? Надо немедленно осмотреть ее; если это серьезно, то весь ваш двор – и людей и животных – на карантин; может быть, даже придется временно прекратить транспортное сообщение между Или и Урумчи; в случае ящура надо немедленно доложить в уезд, в округ, в административный район и госсовет. СССР, Пакистан, Афганистан как соседние государства тоже должны будут принять меры... Только тогда она нехотя дала мне протиснуться во двор. О Небо мое! Корова уже висит под навесом – этот ваш здоровяк, который на повозке ездит – как его зовут? никак не вспомню! – уже разделяет тушу!

– Что, в конце концов, происходит? – с каменным лицом спросил Ильхам у Нияза, с усилием сдерживая гнев.

– Что ходит? каких гонцов? Опять ваша корова-морва! – Нияз прикинулся дурачком и заодно пытался поиздеваться над тем, как Ян Хуэй говорит по-уйгурски: – Я вообще ее южный акцент не понимаю!

– Тебя спрашивают, почему корову зарезал. Ты опять не понял? – крайне строго сказал Лисиди, употребив чрезвычайно редкое в разговоре между взрослыми «ты». Насмешка Нияза над Ян Хуэй его рассердила: как это можно так относиться к «нашей дочери»! Он задышал тяжело, как лев, собирающийся зарычать. Нияз невольно втянул голову.

– Э-э... да, – Нияз уже придумал, что сказать: – Корова уже очень сильно болела, как можно просто смотреть, как она помирает? А зарезать – так можно еще немного денег получить – а то заработанного даже на соль не хватает...

– Вашу корову нельзя продавать и нельзя есть, надо отправить мясо в больницу на анализ, проверить, не заразное ли оно, – честно попытался объяснить Ильхам.

– Как это, как это? Мясо чем виновато?

– Неизвестно, чем была больна корова, ее мясо может содержать вирусы, опасные для человека. Мясо надо отправить на ветеринарную станцию!

– Мясо нормальное! – Нияз сильно занервничал. – Я головой своей гарантирую! Если у кого живот заболит от этого мяса – я отвечаю! – он бурно жестикулировал и брызгал слюной.

– То есть корова ваша не болела? – холодно усмехнулся Ильхам.

– Нет, не болела... ой, болела-болела... то есть нет, не болела... – Нияз не знал, как ответить.

– То есть? Я для чего сюда прибежала, ради чего? Я что должна делать? Если вы тут считаете, что не надо звать санэпидемстанцию заниматься коровой Нияза, – тут Ян Хуэй встала, – то я пошла.

– Погодите, – остановил ее Лисиди. – Нияз еще не уплатил налог на забой скота; пусть наша дочь сообщит в налоговое управление.

Нияз возмущенно вскочил, громко двигая стол и скамейку, ни на кого не глядя сказал:

– Ну хорошо, мы еще поглядим! – то ли от возмущения, то ли от переживаний по поводу уплаты налога лицо его стало мертвенно-бледным, Нияза била дрожь – как малярийного больного во время припадка.

– Пока не уходите, – остановил его Лисиди взмахом руки. – Нияз-ахун, подумайте хорошенько, пожалуйста: почему вы так себя ведете? Зачем вы устроили цирк с этой коровой?

Вас в семье восемь человек, при старых порядках вы бы все умерли от голода и холода. Вам бы горячо любить социализм, быть хорошим членом коммуны...

Слова секретаря не возымели действия. Нияз, не дожидаясь, пока Лисиди закончит, повернулся и вышел, решительно, упрямо и непреклонно, подрагивая своим тучным телом при каждом шаге.

Ильхам, глядя на этот пейзаж, покачал головой:

– Я просто не понимаю: он не помещик, не кулак, а ведет себя так, как ни кулак, ни помещик не посмели бы. Социализм облагодетельствовал его – а он фактически ненавидит социализм. У него все мысли настроены против социализма и коллектива, ничего кроме смутяинства и безобразий. С такой энергией лучше бы разводил овец или выращивал чеснок – и денег бы заработал... – Ильхаму много еще хотелось сказать, обстоятельно поговорить с Лисиди, но, поглядев на изможденное лицо секретаря, он оборвал свои речи и сказал: – Секретарь, идите домой, отдохните.

– Угу, – буркнул Лисиди, но не тронулся с места.

Сегодня он слишком много говорил, грудь стала словно ватой набитая – ни вздохнуть, ни продохнуть, ни выкашлять... Ильхам это чувствовал, но не знал, чем помочь; он сказал:

– Я принесу вам горячего чая.

На лице Лисиди высветилась благодарная улыбка, но он помотал рукой и тихо спросил:

– Как вы думаете, почему Нияз снова поднимает шум? Может быть, он унюхал что-нибудь?

– И что же он мог унюхать?

– Брат Асим тоже выступил: не пускает Иминцзяна в кладовщики. Говорит, скоро будут «учить социализму» и всех ответственных работников станут давить и «выпрямлять». Какой-то начальник большой бригады сказал ему, что один такой попавший под разбор бухгалтер из-за страха перед критикой взял да и повесился.

Лисиди кивнул:

– В других бригадах похожая ситуация – всякое разное говорят про новое движение, в том числе было «выпрямлять» и «повесился»...

– Похоже, кто-то специально пускает слухи. Вот гады!

– Кто-то пускает слухи... – повторил Лисиди, глубоко задумавшись; сетка морщинок в уголках его глаз стала еще глубже. Он снова заговорил, но уже мягче: – И ведь не все это вранье.

– Что вы такое говорите? – растерялся Ильхам. – Не все вранье? То есть что-то из этого – правда?! Как так?

Лисиди продолжал задумчиво, как бы рассуждая вслух:

– Борьба – это сложно; как учить социализму, мы и сами толком не знаем. Борьба, борьба – конечно, будет борьба. Без борьбы все сгниет, переродится; а раз борьба, то изо всех сил – ну кто ж борется-то вполсилы? В ходе движения могут возникнуть разные сложные ситуации. Это будет непросто, но мы должны это испытание выдержать.

Ильхам не все четко расслышал из того, о чем говорил секретарь. Но весомость и смысл слов «сложная ситуация» и «выдержать испытание» он хорошо осознавал, поэтому слушал серьезно и внимательно.

Лисиди поднял голову и посмотрел на портрет Председателя Мао, висевший на стене напротив входа, – и светлая волна прошла по его изможденному лицу. Он искренне сказал:

– Мы должны верить массам, должны верить партии. Вроде бы так просто, когда говоришь это... А как непросто на самом деле! Мы сможем? Так, чтобы всегда, в любой ситуации?

– Конечно, – уверенно кивнул Ильхам, хотя у самого в душе была как раз полная сумятица. – Вы бы лучше шли отдыхать.

– Да, хорошо. Это... – Лисиди помедлил, как бы сомневаясь – спрашивать или нет – и все же спросил: – Что ты все-таки думаешь о начальнике большой бригады? Какое у тебя мнение на его счет?

– О начальнике большой бригады? – переспросил Ильхам. – Все проясняется понемногу... – и рассказал все что думал, ничего не скрывая.

Он не стал уходить далеко в прошлое, начал с шестьдесят второго года, когда вернулся из Урумчи и все видел своими глазами: в чьих интересах было поведение Кутлукжана, кому на пользу были его слова и поступки? Кому он доверяет, на кого опирается, кого отодвигает, против кого выступает – неужели все еще не очевидно? Что он всецело одобряет, что делает, а чему препятствует – это разве не ясно? Как он относится к делу революции, как относится к товарищам по партии, как проводит время – разве в этом есть хоть что-то от коммуниста? Какие-то темные дела, какие-то смутные ситуации... Ульхан одно время говорила, что это Кутлукжан вызвал из дома Исмадина тем вечером тридцатого апреля шестьдесят второго, а потом, когда стали допытываться, снова сказала, что не может вспомнить. Ленька в итоге все же рассказал Ильхаму что, насколько он слышал, Мулатов из Общества советских эмигрантов в апреле шестьдесят второго заходил к Кутлукжану домой и, возможно, не один раз разговаривал с ним. Об этом он тогда сразу же сообщил в партийные организации большой бригады и коммуны.

Секретарь Чжао разговаривал с Кутлукжаном – когда речь зашла о шестьдесят втором, Кутлукжан решительно отрицал, что у него были какие-либо проблемы – категорически, ничего, никогда. То, что говорили Ульхан и Ленька, не может подтвердить кто-либо другой и неубедительно с точки зрения закона. Когда все стало ясно с личностью Бао Тингуя, руководство пыталось провести работу – чтобы он и Кутлукжан рассказали о своих близких отношениях. Ни тот ни другой ничего говорить не стали. Кутлукжан считает, что у него-то все получилось – вся вода как с утки стекла, ни капельки не осталось; но так как раз и не бывает: если по воде плаваешь, капельки на перышках-то всегда остаются... Впрочем, народ не дурак. По меньшей мере можно сказать определенно, что Кутлукжан открыто занимается деятельностью, которая на руку ревизионизму, выгодна врагам, плохим людям – и невыгодна партии. Пусть

даже и не ясны мотивы, которые им движут. Нет таких уток, к которым совсем не пристаёт вода, как бы хорошо ни были смазаны жиром перья – разве что только совсем не касаться воды. И нет таких дел, которые совсем не оставляют следов; любое явление показывает свою сущность – пусть даже искаженно, как отражение в воде. Кутлукжан – вот узел всех болезней в большой бригаде. Этот вывод становится все яснее с каждым днем. Однако, чтобы решить эту проблему, не хватит усилий нескольких ответственных работников большой бригады.

– Я хотел все передать в рабочую группу по социалистическому воспитанию, сейчас уже полностью готово; недостает лишь «четырёх чисток» – как только подует свежий ветер обновления, так и слетит вся эта маскировочная вуаль, – сказал Ильхам.

– Это верно, вопрос давно назрел. Но самая полная картина – только по шестьдесят второму. Как приедет рабочая группа, мы сами сразу же инициативно объясним ей всю ситуацию и поставим этот вопрос, – сказал Лисиди. – А Майсум – как он ведет себя в последнее время? – снова спросил он.

– Не было каких-то новых серьезных проявлений. Единственное – какое-то притворство все время ощущается, на людях всегда заискивает, подлаживается. На собраниях такие передовые речи толкает, словно наизусть редакционную колонку из газеты цитирует... Но этой весной, когда ставил стену вокруг дома, выкопал фундамент на чужой земле – большой бригады «Новая жизнь». В последнее время он стал поживее, люди говорят, пару раз ходил к Ниязу, а раньше они совсем не общались. Еще ходил к Ясину, и еще, люди рассказывали, зывал Тайвайку водку пить...

– Да, я был позавчера в мастерских – там многие только и говорят между собой, какой «начальник отдела» хороший или какой он нехороший – а как только я пришел, так сразу умолкли. – Лисиди на минуту задумался и опять спросил: – Ты как думаешь – какие отношения у начальника большой бригады и Майсума?

– Пока что ничего замечено не было – если не считать, конечно, того случая, когда Майсум только-только перебрался сюда и понес начальнику большой бригады подарок – два брикета фуча, а тот их не принял и Майсума строго отчитал.

– Ну да, про это точно все слышали.

– Но только вот члены коммуны говорят, что Майсум стал кассиром в мастерских исключительно благодаря бригадиру. И дом свой Майсум построил с его помощью. А у себя дома начальник повесил-таки на стену шелковый ковер – в прошлом году он надеялся было на Бао Тингуя, но тогда ковер до него так и не дошел, а в этом году, говорят, Гулихан-банум подарила...

– Правда? – удивился Лисиди, а потом довольно сказал: – У тебя – вся последняя информация, и такие детали!

Ильхам смущенно улыбнулся: какие там детали, какая информация – это же деревня! разве хоть кто-то укроется от людских глаз? Если ты только не слепой или сам не зажмурился и не заткнул уши, как некоторые делают, когда плавают; если ты с народом заодно – то столько услышишь, чего и не думал услышать! У каждого есть уши, язык, у каждого есть своя голова на плечах – и каждый что-то знает, анализирует, рассказывает... Есть, конечно, много такого, чего он не знает – вот, например, о чем думает Тайвайку...

Тут он поглядел на Лисиди, который что-то долго ничего не отвечал, – и вскочил.

– Пойдемте, вам надо отдохнуть. А я займусь организацией встречи.

Ильхам и Лисиди вышли. Не успели они распрощаться и пройти несколько шагов, как Ильхам услышал сзади резкий кашель и тяжелый стон. Он обернулся и увидел, что Лисиди, согнувшись, держится за ствол дерева – его тошнило. Ильхам бросился назад и, не удержавшись, вскрикнул:

– Секретарь? Вы...

Лисиди строго остановил его и слабым голосом сказал:

– Что кричишь? Ну подумаешь, сосудик в бронхах лопнул.

– Я отвезу вас в больницу, – Ильхам засуетился, словно пытался собрать секретаря в охапку. – Вообще-то, когда выпал снег – в тот день – не надо было вам выходить рыть землю для арыка...

– Иди, займись своими делами! А я сам о себе позабочусь. – Лисиди решительно худой, костлявой рукой отодвинул Ильхама, выпрямился, высоко поднял голову и ушел, тяжело и твердо ставя ноги.

Во второй половине дня Кутлукжан выбрался, наконец, из конторы большой бригады; он, во-первых, в глубине души радовался неразберихе и конфликту вокруг Нияза... Чужие ссоры, ругань доставляли ему радость – это качество еще с детских лет укрепилось в нем. С другой стороны, он был недоволен, что не узнал об этом деле заранее. Он разобрал по косточкам весь, что называется, ход событий этого «инцидента с больной коровой» и пришел к выводу, что без постороннего руководства Нияз не решился бы снова лезть на рожон. Он решил, что это наверняка Майсум дергал за ниточки. Майсум, несомненно; это его скрытый союзник. Его опыт, идейность, образованность и связи – все это, конечно, будет очень полезно. Однако репутация Майсума – «недоучившийся хаджи», это минус. В прошлом году, когда секретарь парткома уезда Салим был тут, эта история с подметным письмом... Похоже, Майсум не только почувствовал себя здесь вполне уверенно, не только сует руку во всякие дела, но еще и пытается занять более высокое, более важное положение – и даже размахивать перед ним дирижерской палочкой. Каков наглец! Все это он, Кутлукжан, давно предвидел: в тот самый первый раз, когда Майсум явился к нему с двумя кирпичами чая, он совершенно правильно сделал строгое праведное лицо и сурово отчитал Майсума, а потом раструбил повсюду, чтобы все знали. Потом-то Майсум разобрался в ситуации и усовершенствовал подход: потихоньку заслал в дом начальника свою Гулихан-банум с этими же двумя брикетами и добавил к ним два метра шелковой ткани. Пашахан с радостью все приняла, и довольная улыбка потом несколько часов не сходила с лица жены начальника большой бригады.

Конечно, сам Кутлукжан про эти подношения не знает-не ведает, но когда появилась вакансия в мастерских, то Кутлукжан всеми средствами и способами постарался определить туда Майсума. Вплоть до того, что когда утверждалось его назначение на эту должность, Кутлукжан еще раз припомнил историю с отвергнутым чаем как доказательство твердости и силы своих принципов, как доказательство того, что поступает принципиально невзирая на лица и отношения – и при назначении кассира также руководствуется одной лишь принципиальностью. Равно как и в предыдущем случае, Майсум тоже об этом «не имел ни малейшего представления» и пошел на должность кассира только потому, что подчинился такому организационному решению. Вскоре после того снова приходила Гулихан-банум и принесла на этот раз изящный чайный набор – большие, средние и маленькие чашечки, всех по четыре – вот ведь, все-таки супруга начальника отдела, какие изысканные манеры! Ну а начальник большой бригады, соответственно, одобрил выделение «списанной» древесины Майсуму «на утилизацию» – чтобы он себе дом построил.

После истории с кирпичами чая отношения между Кутлукжаном и Майсумом были строго официальными. Кутлукжан принимал вид руководителя, направляющего и поучающего. Майсум же изображал активного, прогрессирующего, послушного и осмотрительного работника. Постепенно это стало вызывать у Кутлукжана отвращение и неприязнь. Такое же чувство он в молодости испытывал к мелким лоточникам на базаре, громко превозносящим до небес каждый свой товар, чтобы продать его подороже. Человек, всю жизнь обманывавший других, более всего ненавидит, когда другие пытаются обмануть его самого. Хватит, довольно этой показухи, фальши, неестественных отношений. Он давно ждал удобного случая – он безжалостно сорвет с Майсума его лживую личину, пусть будет посрамлен перед его глазами,

пусть трепещет и льет слезы; надо, чтоб он был разоблачен до конца и полностью, чтобы совершенно зависел от его, Кутлукжана, покровительства и милости; чтобы безропотно и беспрекословно исполнял то, что будет велено. Чтобы этот Майсум никогда, ни в коем случае не смел скалить зубы и поднимать хвост – и уж тем более не смел предавать и своенравничать! Потому что в любой момент ему, Кутлукжану достаточно только плюнуть на этого своего подопечного – и тот захлебнется и утонет.

Кутлукжан сперва зашел в цех ремонта шинных повозок, в давиленью, столярку, слесарку, покрутился то тут то там и только потом направился в темный сырой угол, где была комната кассира. Он толкнул дверь – она оказалась заперта изнутри. Он саркастически ухмыльнулся и легонько постучал.

Майсум слышал стук, но никак не отреагировал. На столе у него лежали книга учета и счета, но они его не интересовали: в этот момент он делал пометки в маленьком блокнотике и был весь поглощен этим занятием, доставлявшим ему, по-видимому, большое удовольствие.

Бах! Бах! Бах! – легкий стук в дверь сменился ударами кулака. Майсум спокойно убрал блокнотик, раскрыл книгу приходов и расходов и только тогда пошел открывать. Увидев Кутлукжана, он немедленно сменил на лице выражение досады и скуки на услужливую улыбку.

– Начальник! Оказывается, это вы! Здравствуйте!

Кутлукжан вялым рукопожатием ответил на его приветствие, не дожидаясь приглашения, без церемоний вошел в комнатку, с размаху сел на единственный стул и с упреком спросил:

– Я несколько минут прождал перед твоей дверью, а народ, наверное, вообще попасть сюда не может?

– Пожалуйста, не сердитесь. Конец года, сведение счетов, люди постоянно отвлекают, просто нет выхода – пришлось закрыть дверь на крючок, – Майсум почтительно стоял рядом, держа руки вдоль тела.

Кутлукжан фыркнул и, водя перед Майсумом пальцем, стал указывать:

– Завтра прибывает рабочая группа по «четырем чисткам». Останься сегодня вечером после работы и напиши какие-нибудь приветственные лозунги, развесь в мастерских внутри и снаружи, понял?

– Да. А какие именно лозунги?

– Сам не знаешь, какие? Начальник отдела! – в голосе Кутлукжана явно была издевка.

– Я слушаю начальника, – Майсум ничуть не смутился.

– Что, и так непонятно? – Кутлукжан вынул из кармана маленькую тыкву-горлянку наполненную нашим – нюхательной махоркой, повертел-покрутил, любуясь. Вдруг он резко хлопнул по столу этой тыковкой и, глядя на Майсума в упор, спросил:

– Как так вышло с Ниязом, что он побежал в большую бригаду, поднял шум?

– Что вышло? Не знаю, – Майсум делал вид, что ни при чем.

– Это безобразие! – возмущенно фыркнул Кутлукжан. – Неужто на плечах не голова, а тыква? Как можно в такое время затевать эту возню? Его точно кто-то надоумил.

Теперь Майсуму стал понятен визит начальника; он давно ждал этого дня. Он уже и сам собирался идти к нему. Померяться разок силами, поглядеть, как этот столп морали и оплот добродетели, как эта самодовольная, надменная тварь будет ползать у его ног, как он станет жалкой пешкой на его ладони... О, как это будет забавно!

Майсум словно не слышал колкостей Кутлукжана, он достал тряпку и, протирая ножку стола, сказал, как бы продолжая беседу о погоде:

– Только что вернулся от Дауда, из кузницы, там много мужиков собралось, все толкуют между собой.

Услышав имя Дауда, Кутлукжан почувствовал, как внутри что-то дернулось, но он не хотел показывать свою заинтересованность и продолжал сидеть как сидел, не издавая ни звука.

– Дауд, член ячейки, сказал: надо выковырять невычищенных кадров!

– Правильно сказал, это движение как раз и должно выявить тех кадровых работников, которые нечисты по четырём направлениям. У тебя счета в порядке, чисты?

Майсум подошел, выдвинул ящик стола, взял таблицу:

– Баланс расчетов здесь расписан, прошу начальника взглянуть.

Кутлукжан презрительно отпихнул таблицу:

– Что можно увидеть из баланса расчетов! – слова «баланс расчетов» Кутлукжан произнес саркастически.

– Что положено записать – все записано, – с предельной вежливостью и почтением ответил Майсум.

– Сколько по твоим записям выдано мне на расходы?

– По балансу расчетов, – Майсум не выделял эти слова особо, – семьдесят восемь юаней сорок фэней.

– Я в течение двух дней все верну, – решительно сказал Кутлукжан: ему нельзя было оставлять никаких щелочек. – Деньги небольшие, на все есть особые причины – и расписки на все есть – но все-таки когда руководитель много тратит, это может произвести нехорошее впечатление; а если брать выше, на уровне принципов – такое может развиваться в потребительство и алчность, превратиться в экономическую нечистоплотность. А если к экономической нечистоплотности прибавится нечистоплотность политическая – то это уже дело серьезное! – Кутлукжан говорил строго, заготовленными длинными предложениями, словно читал доклад; особенно он выделил слова «политическая нечистоплотность», совершенно сознательно наступая на едва зажившую рану Майсума. Завершая свою речь, он плавно поднял палец и постучал по своему колену, словно извлекая звук из музыкального инструмента.

– Вот именно, главное – чтобы не было каких-нибудь политических промахов! – брякнул Майсум. Сказав это, он отвернулся и хлопнул тряпкой, вытряхивая пыль.

«Промахи» заставили Кутлукжана в ужасе содрогнуться; кровь бросилась в голову, но тут же к нему вернулись ясность и трезвость; он в глубине души успокаивал себя: нет, это невозможно; даже если бы ожил великий и мудрый Абай-ходжа, он и то бы не дознался. При этой мысли Кутлукжан встал, заложив руки за спину сделал несколько шагов, намереваясь завершить этот неудачный визит, и сказал поучающим тоном:

– Твое положение и место ты сам знаешь. В ходе этого движения тебе надо как следует принять проверки и воспитательную работу, которую будут с тобой проводить организация и массы. Надо выпрямить отношение. Проверь как следует свой баланс счетов. Конечно, с тех пор как ты в деревне, ты ведешь себя в целом хорошо. И впредь запомни: не задирай хвост и тебя не обидят. Если только сам не будешь напрашиваться, искать неприятностей, например – писать всякие мутные анонимные письма. Я понятно говорю?

– Хорошо... – Майсум заморгал.

Кутлукжан хотел идти, но Майсум остановил его – держал за край одежды и скромно, но очень интимно, как бы по секрету говорил:

– Товарищ начальник большой бригады, уважаемый брат бригадир. Мне очень нужно задать вам один вопрос. Раньше я был руководящим работником, эта тема давно закрыта. Сейчас я самый-самый простой-простой мелкий персонаж. А вы исполняли на селе – и сейчас еще исполняете – руководящие должности; вы старше меня и по возрасту, ваш уровень выше моего, вы для меня – образец, по которому я учусь. Я хочу сказать, что в уезде Нилка у меня есть родственник, двоюродный брат по матери; он в прошлом занимался мелкой торговлей, а перед Освобождением разорился и пошел в батраки... Вы только, пожалуйста, не нервничайте, дослушайте, что я вам скажу. Потом он стал активистом, кадровым работником, членом партии. Во время демократических реформ он для вида боролся с помещиками и баями, но тайком продолжал с ними якшаться. Ну кто знает, какой бес выел ему все мозги... Когда дошло до 1962 года, он встал двумя ногами на разные лодки: открыто он по-прежнему был ответственным

ным работником народной коммуны, а втайне – вместе со спецагентом Общества советских эмигрантов... ну да ладно, я очень путано говорю. Если коротко – вот такие за ним непотребства. Так позвольте спросить, уважаемый старший брат начальник большой бригады, – если эти факты проявятся, его, ведь, наверное, не расстреляют? Нет? Нет, конечно, я думаю, не станут...

В одно мгновение в глазах у Кутлукжана потемнело, сильно загудело в ушах – как от первой глубокой затяжки коноплей. Его глаза налились кровью, он крепко ухватил Майсума за длинную тонкую мягкую и холодную, как у мертвеца, руку, словно взбесившийся медведь, готовый разорвать жертву в клочья.

Майсум легонько оттолкнул Кутлукжана, вернулся к столу, собрал книгу учета, счета и таблицу, взял висячий замок и оставленную начальником на столе тыковку:

– Мне надо идти за тушью, и еще дощечек настрогать. Пожалуйста, горляночку свою возьмите. Когда будете уходить, не забудьте запереть дверь.

Майсум изогнулся всем телом и легко и бесшумно выскользнул наружу.

...Кутлукжан выбрался на улицу. Как он оказался на улице? Эти медленно передвигающиеся ноги – это его ноги? Голова кружилась, тошнило, тело ватное и немощное, дыхание прерывистое, тяжелое. Что это за место? Это разве знакомая дорога от мастерских до его дома, по которой он ходил сто тысяч раз? Откуда взялся этот совершенно незнакомый мир? В нем одни давящие черные тени. Эти, высокие и длинные, это деревья? А так похожи на выстроившихся мрачной шеренгой асуров<sup>5</sup>... Эта большая широкая тень – корова или свирепый оборотень? Что за звуки? Арба скрипит? – так похоже на голос толстого Махмуда... Свет? Откуда? В окне горит керосиновая лампа – или это мигающие глаза Мулатова?

Он вернулся домой. Ничем не больная, но стенающая на подушке Пашахан, увидев мужа, вскочила как подброшенная с криком:

– Мой Худай! Что с тобой? У тебя же лицо как гнилая солома!..

Непотребство... Майсум все знает... Тошнит...

– Сейчас налью тебе чаю!

Майсум знает. Непотребство. Махмуд, Малихан, Мулатов, Латиф, Исмадин и еще сам этот Майсум... О ужас! Взял пиалу, сделал глоток, ошпарил рот кипятком – дзынь! – пиала полетела на пол, раскололась...

Кто там пришел? Мужчина? женщина? Салам-aleyкум, да-да, алейкум-салам... Это Кувахан, она держит большой кусок мяса, церемонно подносит Кувахан и Кутлукжану и возбужденно тараторит:

– Я принесла немного говядины, отрезала от самого жирного места. Я сначала хотела принести половину...

Потом – Кувахан шевелит губами, и Пашахан тоже шевелит губами, непонятно – то ли они плачут, то ли смеются. Чему они смеются? Зачем корчат рожи? Почему на него показывают пальцем? О чем это они болтают между собой? или это они дерутся?

В конце концов Кувахан ушла. Почему она так долго здесь сидела? Она часа два тут проторчала...

– Налей мне водки, – тихо сказал он. Может, потому что Кувахан ушла наконец, Кутлукжан почувствовал небольшое облегчение.

Тогда Пашахан начала поиски. Водка была, но из страха, что могут увидеть не те гости, Пашахан засунула бутылку в такое место, что и сама теперь не помнила куда. Она полезла в сундук, разворошила одеяла, бегала в кладовку и обратно. Бутылка в итоге нашлась, и Кутлукжан отпил глоток. Он припоминал только что произошедшее. По телу пошло тепло, сердце

---

<sup>5</sup> Демоны в индуизме.

забилось, он стал оживать. Он стал думать, с кем можно все обсудить, посоветоваться. Таких не было. Тогда он сделал еще глоток. Сердце застучало еще быстрее, он как будто слышал внутри глухое постукивание – бум, бум. Ему надо подумать, надо принять решение. Он жив, стало быть, ему надо есть, пить, обманывать других, надо продолжать этот спектакль. Нет, Майсум ничего не скажет; если бы он хотел сказать, то не стал бы говорить заранее. А что ему тогда надо? – да кто ж не знает, чего ему надо!

Но какой же опасный человек Майсум! Нет, не могу...

И он отпил еще; во рту стала ощущаться боль от ожога. Он выплюнул водку. Рука болит, спина болит, ноги болят...

Рынок принадлежит тому, кто первый пришел! Вот так! Во что бы то ни стало ему надо устранить это зло в лице Майсума, даже если это будет конец для них обоих... Нет, не надо для обоих. Потому что базар того, кто пришел первым. Сейчас он пойдет к Лисиди... Нет, прямо к секретарю Чжао, в коммуны – и доложит о ситуации с Майсумом. Недостаточно фактуры? Не беда – по ниточке паутинки отыщется и паук, а следы копыт приведут к лошади, как говорится. Он может делать предположения, приводить доводы, развивать... главное – вцепиться зубами: Майсум замыслил недоброе... А если Майсум выкатит встречные обвинения? Не признавать, умереть – но не признавать, с самого начала четко сказать: в последние два года он вел с Майсумом ожесточенную борьбу – и поэтому встретил со стороны этого не добежавшего за рубеж порождения помещичьих элементов въевшуюся до костей злобу и ненависть... Ему еще может помочь Нияз. Сначала покончить с Майсумом. Благодаря его положению, должности, авторитету люди, конечно, скорее поверят ему, а не Майсуму Ну конечно. Это просто смешно! Как он так сразу испугался, что даже сам на себя стал не похож?

Главное – быстрота, нужно перехватить инициативу. Он умылся, надел баранью шапку, сказал Пашахан:

– У меня срочное дело, иду в коммуны.

Он распахнул дверь во двор и невольно сделал шаг назад. Все тело покрылось гусиной кожей.

В дверном проеме в тускло-голубом свете молодого месяца и свежевывавшего снега виднелся темный силуэт.

И это был не кто иной, как Майсум.

## Глава двадцать пятая

### Обстановка в комнате Майсума и необыкновенный ужин с песнями

#### Ядовитые цветы всех пороков

Правую руку Майсум приложил к груди, согнувшись в глубоком поклоне почтительного приветствия. Потом он развернул обе руки, словно собираясь принять дар – правая впереди, левая чуть сзади, ладони раскрыты и обращены вверх, как в танцевальной позе, – и крайне льстиво, очень мягко и трогательно произнес:

– Начальник большой бригады Кутлукжан, старший брат Кутлукжан, душа моей жизни и жизнь души моей, драгоценнейший из всего на свете друг мой, о мой уважаемый аксакал! Я надеюсь на щедрость широкой вашей души, надеюсь, вы не будете на меня в обиде за мой безрассудный неурочный визит. Если позволите, я хотел бы произнести слова, которые давно хотел, но не решался вам сказать. Говорить ли, не говорить ли – я примерялся, я колебался, я сомневался... Позвольте спросить, уважаемый брат начальник: могу ли я высказать свою надежду, мое сердечное желание, мою нижайшую просьбу? Можно ли мне сказать?

Даже в неверном отсвете от свежевыпавшего снега было видно, как лицо Майсума играло при этих словах: брови взлетали высоко вверх, глаза вращались, рот кривился. Майсум то и дело шмыгал носом. Как же искренне и трогательно!

Оторопевший Кутлукжан молчал.

Руки Майсума вернулись к груди и вцепились в нее, словно собирались вынуть наружу сердце; с согбенной спиной, обращенным вверх взглядом и трогательно вытянутой шеей он продолжал:

– Но – умоляю! – не говорите «нет»! Я давно собирался пригласить вас почтить своим посещением мое бедное убогое пристанище. Хотя бы на двенадцать минут: двенадцать минут – это ведь всего-навсего семьсот двадцать секунд. Дружеская беседа не только избавляет от тоски и душевных мук – она суть кладезь мудрости и знания. Конечно, ваше положение, ваши величие и строгость, ваша занятость не позволяли мне, недостойному, решиться сказать об этой своей несбыточной мечте. Однако чем так вот говорить про завтра или послезавтра, уж лучше – сегодня; чем откладывать на потом, через два часа, через три – так уж лучше сказать сейчас. Сейчас, разрешите спросить именно сейчас, в эту минуту и эту секунду: можете ли вы направить драгоценные ваши шаги в сторону скромного убогого приюта, где накрыт недостойным для вас стол, и почтить его своим лучезарным посещением?

– Что? я? сейчас? к вам домой? – у Кутлукжана затуманилось сознание от эпической поэмы Майсума, однако голос Майсума и поза немного его успокоили. И Кутлукжан, в соответствии с привычкой и положенным ритуалом, сказал в ответ: – Благодарю вас, не стоит!

– К чему благодарить? Зачем отказываться? Да, да! – не унимался Майсум. – Я знаю, знаю, насколько вы загружены работой: ваша голова полна забот о делах всей большой бригады – ни староста Махмуд, ни бек Ибрагим не управлялись никогда с таким множеством земельных угодий и населением – вы же отец наш. Разве не следует именно поэтому слегка расслабиться хорошему человеку, так горящему работой, прямо-таки поджаривающему себя ради нас всех? Разве не следует со всем нашим искренним уважением и почтением дать вам возможность на миг расслабиться и чуточку повеселиться?

Двенадцать минут спокойно посидеть – ну ни малейшим образом это не помешает. Всего-то надо двенадцать минут, ни минутой больше. Но зачем очерчивать запретный круг, к чему себя ограничивать, сдерживать, не решаться сказать то, что хочется, замирать в нерешительности? Ответьте мне, ответьте, пожалуйста: «Так!» – О! О мой старший брат! – похоже было, что Майсум вот-вот заплачет.

«Чего ему все-таки надо?» – думал Кутлукжан. Начальник большой бригады уже взял себя в руки, но был полон сомнений и не мог решиться. Он нехотя сказал:

– Ладно, я приду. Потом.

– Дело вот в чем, – руки Майсума повисли, голова опустилась, словно у провинившегося ребенка; боязливо, без пауз он быстро заговорил: – У нас, узбеков, всегда отмечают день свадьбы. Сегодня – день нашей свадьбы с Гулихан-банум. Сегодня десятая годовщина нашей с Гулихан-банум свадьбы. Нет дорогих гостей и нет угощений, мы словно на пустыре среди сухой травы. Но я не думаю, что всех приглашать было бы уместно – ведь уйгуры не имеют обычая отмечать годовщину свадьбы. Но вы – другое дело, вы же элита, культурный, знающий мир человек, вы были в СССР с официальным визитом, вы ездили в Пекин и видели великих Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. У вас есть голова на плечах. Если вы не придете – бедная женщина приткнется в углу и будет лить слезы, забыв обо всем от печали...

Что-что-что?..

– Я?

– Ну да! в этой большой бригаде – нет! – во всей коммуне, в уезде, во всем этом округе! – моя жена уважает только вас. Конечно, если вы считаете, что следует еще кого-нибудь пригласить, то...

– Не стоит. – Кутлукжан принял решение. Анекдот, право! Чтобы он так колебался из-за приглашения к столу? За такую нерешительность Майсум его просто уважать перестанет. Он отряхнул рукава, проверил пуговицы, прочистил горло и сказал: – Пошли!

Пока шли, Кутлукжан успел прикинуть расклад. Судя по тому унылому виду с каким явился Майсум, они прекрасно понимают друг друга без слов – их интересы совпадают. Он немало для него сделал, у Майсума нет причин выступать против него. Эта его выходка сегодня днем – Кутлукжан сам ее спровоцировал, не догадываясь, что этот черт знает кое-какие его секреты. Однако у него тоже есть пока не разыгранный козырь: когда в прошлом году здесь был секретарь Салим, Майсум написал это идиотское, мерзкое анонимное письмо. Кутлукжан, конечно, это письмо сжег – большая глупость с его стороны, старого расчетливого интригана. Но ведь сжег или не сжег, Майсум-то не знает, а ведь этого письма вполне достаточно, чтобы показать: после неудавшегося отъезда Майсум вовсе не стал честным и покладистым, он, напротив, повсюду сует свой нос и вынашивает разные замыслы. Пусть только попробует снова его шантажировать – он тотчас же объявит Майсуму что передаст его письмо прямо в коммуну. А если не выйдет? Тогда и будем дальше думать. Сейчас-то он зачем к себе пригласил? Поест? Вот рот, вот живот. Поговорить? Вот уши, вот голова. А если что другое, то – увольте. Надо быть очень бдительным, оставаться начеку; каждая пора кожи должна стать внимательным глазом, каждый волос на голове – антенной, следящей за Майсумом, за каждым его движением, за каждым словом – чтобы найти щель, ниточку, лазейку и из обороняющейся превратиться в атакующую сторону.

Майсум шел близко, сзади, по пятам, ссутулившийся, опустивший втянутую в плечи голову – как и должен идти за своим начальником послушнейший подчиненный; а когда подошли к дому – он заторопился, побежал вперед. Топнул на бросившуюся было вперед черную собаку и вытянул руку, жестом приглашая гостя:

– Прошу!

«Раздавленный» было Кутлукжан шел рядом со сжимавшимся, съживавшимся Майсумом и постепенно как бы распрямлялся. Он решительно поднялся на крыльцо, шагая все шире

и шире, прошел через полную запахов переднюю комнату, в которой и готовили и спали, вошел в просторную гостиную, где дышалось уже легко. Войдя в гостиную, он сначала остановился в дверях, развел руки, словно принимая дары, и пробормотал вполголоса что-то из священного писания; одновременно, кося глазами, он оценивал обстановку и убранство этой гостиной.

Пол был устлан тремя большими коврами с ярким крупным красным и зеленым узором на темно-коричневом фоне. Прямо посередине комнаты был поставлен низкий круглый стол, застеленный расшитой скатертью. На столе стояли два оранжевых стеклянных подноса на высоких ножках. На них были кусочки рафинада, конфеты, урюк, дикие оливки и прочие сладости. Слева от стола лежал пухлый небесно-голубого цвета атласный матрасик. Это явно было почетное место для особого гостя – и Кутлукжан почувствовал некоторое удовлетворение. Когдаходишь в комнату, где все приготовлено для тебя, расставлено так, чтобы тебе услужить, то будь ты почтенный человек или отъявленный негодяй – все равно приятно, не правда ли? Кутлукжан, принимая как должное ухаживания учтиво-внимательного Майсума, водрузился на этот мягенький голубенький атласный матрасик.

– Садитесь как вам удобно. Вытяните ноги – пусть отдохнут, – говорил Майсум, неся огромные белейшие подушки из утиного пуха и подкладывая их Кутлукжану за спину высокой горкой; потом сам чинно сел наискосок напротив гостя.

Вошла Гулихан-банум, неся в правой руке мельхиоровый кувшин – такие кувшины формой похожи на цветочные вазы, носик у них длинный, тонкий, изогнутый, и служат они главным образом для омовений. В левой руке у Гулихан-банум был медный таз, внутри которого лежало перевернутое вверх дном оловянное ситечко – специально для того, чтобы не было видно стекающей в таз грязи от мытья рук и лица; такой вот, прикрывающий неблаговидное, эстетический атрибут.

Хоть и была зима, хотя огонь горел во внешней комнате (и в гостиной, следовательно, было довольно прохладно), одежды на Гулихан-банум было немного. На ней было тонкое, почти газовое, розовое платье, сверху – фиолетовая вязаная кофточка с двумя маленькими желтыми хризантемами на груди, из-под платья виднелись длинные чулки от бедра и ниже, обута Гулихан-банум была в темно-красные полусапожки на молнии. На лице ее был макияж: «черная красавица» сегодня была с белым лицом и черной шеей. Мелкими дробными шажками она приблизилась к гостю, чтобы дать ему омыть руки. Кутлукжан почувствовал резкий, бьющий в нос аромат. Гулихан поглядывала на него искоса, словно застенчивая девочка-подросток, сквозь зубы пропищала «якши» в ответ на его вежливое приветствие. Потом она ушла в прихожую и вернулась с большим квадратным черным лаковым, расписанным узорами подносом, на котором стояли две изящные маленькие фарфоровые пиалы; в каждой было немного чая – на доньшке. Гулихан-банум обеими руками высоко подняла чайный поднос, и Кутлукжан поспешно потянулся взять его, но Гулихан легким движением ускользнула и протянула поднос мужу Чай ли, еду ли – сначала принимает муж, а уже потом сам предлагает гостю; неизвестно – для большей торжественности или чтобы подчеркнуть правило: мужчины и женщины, если они не родственники, ничего не передают друг другу из рук в руки и не принимают – но только этот очень утомительный обычай действительно древний.

Майсум предложил гостю чай и сам взял пиалку, затем тремя пальцами захватил со стеклянного подноса разом четыре кусочка сахара и все положил в пиалу Кутлукжану подал крошечную мельхиоровую ложечку и, раскрыв ладонь, сказал:

– Прошу! Чай!

Гулихан-банум, пятясь, ушла, и из наружной комнаты раздался звон кастрюль и поварешек, донесся запах горячего рапсового масла и острый аромат горчичного семени.

Кутлукжан не скромничал. Он поднял пиалу, отпил глоточек и принялся внимательно все рассматривать. У стены стоял длинный стол, на котором громоздились самые разнообразные предметы всех цветов и сортов – как детские игрушки.

В середине лежали несколько толстых книг в солидных изысканных переплетах, обвязанных цветными шелковыми лентами. Очевидно, книги эти были только для украшения. На них стоял прислоненный к стене большой керамический поднос с нарисованным огромным цветком пиона – прямо на уровне глаз гостя. По сторонам от подноса стояли по четыре использованных и уже негодных батарейки «Белый слон».

Перед книгами донышками к стене лежали четыре стакана с красными иероглифами «двойное счастье» – как будто четыре пушки, направленные на гостя; а по краям стола были выстроены две пирамиды из всевозможных пустых бутылок и пузырьков, жестяных банок, коробочек – для красоты. В числе прочего там были: плоские, тонкие в талии флакончики из-под молочка из абрикосовых зернышек для протирания лица, картонные коробочки из-под отбеливающего крема «Две сестрички», темно-коричневые бутылочки из-под рыбьего жира с солодовым экстрактом, жестяные баночки из-под солодового молочного напитка «Локо фуд», коробочки от туалетного мыла с нарисованными золотыми медалями, баночки из-под масляной краски «Причал», фарфоровые перечницы из какого-то ресторана, восковые шарики с выводящими токсины пилюлями из рогов антилопы и цветков форзиции, очень похожие на шарики для пинг-понга, размером и поменьше и побольше... А на вершинах обеих пирамид стояло по великолепному флакончику из-под туалетной воды. Этикетки и эмблемы торговых марок на пузырьках, банках, бутылочках были целыми, все казалось новым; тисненные золотой фольгой надписи и узоры, яркие краски – все говорило о том, насколько богатой и культурной жизнью живут хозяева этой комнаты.

Недалеко от этого длинного бюро стояла старомодная железная кровать, на стене над ней вместо ковра висел кусок цветной ткани – черное изображение медной китайской монеты на желтом фоне. Кровать была покрыта зеленым ковром, по обоим концам кровати стояли две большие подушки: нижние их углы были вмяты, а верхние – вытянуты вверх и заострены; выглядело это так, будто там притаились два диких зверя. На спинке кровати висели совершенно новые шевиотовые брюки. В углу стоял деревянный чайный столик в форме веера, на нем – большая керосиновая лампа из красной меди; свет от этой лампы падал как раз на угол, освещая приколотые по обе стороны кнопками фотографии, расходящиеся в виде цветочных лепестков.

...Кутлукжану очень хотелось встать и подойти, чтобы рассмотреть поближе эти баночки-скляночки и фотографии, но он знал, что чинно сидящего гостя больше уважают: чем меньше движений – тем, стало быть, солиднее человек и выше его положение. Так что ему пришлось сдерживать свое любопытство и продолжить восседать на атласном тюфячке; он то делал глоточек чая – такого сладкого, что щекотно становилось во рту; то бросал взгляды налево-направо; то думал: вот же ведь, а? – был человек начальником отдела, и все-таки, говорят, в шестьдесят втором замыслил уехать в СССР и все распродал начисто, а теперь вот снова прибарахлился вполне прилично. Все-таки культурный человек, понимает, как мир устроен. Если взять, к примеру, его, Кутлукжана, собственный дом, то будь и денег побольше – все равно не было бы приличной обстановки. Этой его вечно стонущей, хоть и не больной, толстой бабе Пашахан сколько денег ни дай, вещей каких только ни притащи – а она все равно не сумеет так дом обставить, по-культурному Он как приходит домой – сразу невольно чувствует, что вязнет, тонет в этой постоянной еде, в этом засасывающем нагромождении вещей и одежды... Но, как ни крути, приходится принимать как есть; он смотрел на две пирамиды, висевшие на столе в тусклом свете лампы, и ощущал не объяснимое никакими словами опьянение, зависть и даже ревность.

Майсум как будто понял его настроение, потер ладонью лицо:

– Разве это дом? Так, пристанище, не больше. Если бы мы узнали друг друга хотя бы несколько лет раньше... Ой-ой-ой! – он глубоко, с сожалением вздохнул, потом, не заботясь, поймет собеседник или нет, сказал по-китайски: – Мы встретились слишком поздно! И ничего

не осталось... – как будто вспомнив что-то, он поднял свою пиалку, расписанную яркими красными цветами. – Вот, посмотрите сюда, – он постучал по доньшке пиалы.

Кутлукжану было не видно. Майсум поднес керосиновую лампу ближе; на доньшке были едва различимы полустертые русские буквы.

– Видите: эта пиала сделана в Ташкенте. Настоящая ташкентская пиала, – Майсум поставил ее на стол, встал, подошел к бюро, сел на корточки, открыл дверцу и вынул рулон шелка: – Посмотрите на этот шелк. Посмотрите, какой цвет, какие узоры, какой прочный! – четырем волам не разорвать его... Это настоящий алма-атинский шелк. Мулатов мне подарил... – Майсум, родившийся в Китае – на родине фарфора и шелка, – как только начинал говорить о Ташкенте и Алма-Ате, так только что слюни не капали...

Упоминание имени Мулатова подействовало на Кутлукжана как удар грома, выражение лица его вмиг изменилось.

Майсум смотрел как ни в чем ни бывало, и в этот момент Гулихан-банум снова внесла тот же квадратный лаковый деревянный поднос, на котором теперь в фарфоровом блюде лежало что-то похожее на фруктовое желе.

– Это халва, мы, узбеки, просто обожаем ее; готовится очень просто: мука, сахар, бараний жир – и все; бараньего жира у нас нет, поэтому используем рапсовое масло – попробуйте, пожалуйста... Впрочем, что это я все болтаю, а вы совсем ничего не едите? Хе-хе...

Договорив, Майсум снова встал из-за стола, пошарил под кроватью, вытащил патефон и обернулся:

– А не хотите ли послушать одну песенку?

Мелодия была знакома Кутлукжану – пластинка из Узбекистана. Пластинка была старая, иглу давно не меняли, мембрана головки хрипела, дрожала, издавала шелестящий звук, сквозь который доносился нереально высокий, пронзительный пульсирующий женский голос. Этот звук вернул Кутлукжана в то время до Освобождения, когда он был лоточником на базаре, торговал сладким хворостом и холодной водой и таким же то взмывающим, то падающим голосом зазывал покупателей. Тоненькая, слабенькая струйка щемящей тоски просочилась в его сердце...

Внезапно громкий, грозный, раскатистый звук опрокинул и задавил все. Ужас охватил Кутлукжана, он затрепетал, не понимая, что происходит... Лишь через несколько мгновений до него дошло наконец, что это заработало радио – радиостанция коммуны начала свою передачу. Вскочивший Майсум прыгал перед громкоговорителем как цыпленок с ошпаренными ногами и пытался обернуть его ватником, но звук рвался наружу. Тогда он попытался оборвать провод, дернул за него, сорвал со стены громкоговоритель и деревянную коробку с усилителем, но сам провод не порвал – раздавался громкий голос секретаря Чжао, говорившего о классовой борьбе в социалистическом обществе. Майсум расвирепел, выхватил ножичек и перерезал провод. Радио умолкло, но пластинка в патефоне уже кончилась, и головка крутилась впустую с шаркающим звуком, как напильник по куску железной руды, отчего мурашки ползли по коже. Майсум с извиняющимся видом улыбнулся Кутлукжану и снова поставил пластинку. Оказывается, завод кончился – на полупhrазе пластинка, словно спустившая воздух шина, замедлилась, и пронзительно высокий голос певицы перешел в низкое тигриное рычание...

Что такое? Опять откуда-то доносился голос секретаря коммуны. Разозлившийся Майсум долго искал источник звука, пока наконец не понял: это большие громкоговорители в бригаде «Новая жизнь». Их уже нельзя было заткнуть или обесточить...

Гулихан-банум принесла поднос с тонко нарезанной бараниной, обжаренной с луком и красным и зеленым перцем.

– Может быть, нам по чуть-чуть?.. – Майсум большим и указательным пальцами зажал воображаемый стаканчик и, запрокинув голову, опрокинул его.

– Нет, – холодно и сухо ответил Кутлукжан.

– А может быть, вы не будете против, если я сам выпью рюмочку? – вихляясь из стороны в сторону сказал Майсум.

– Ну это вы сами смотрите. – Предложение выпить пробудило в Кутлукжане бдительность и неприязнь.

Майсум принес непочатую бутылку «Илийских мотивов» и стаканчик, зубами открыл бутылку, налил до краев, слегка виновато глянул на Кутлукжана и поднял стаканчик:

– За ваше здоровье! – объявил он и тут же выпил. – Гулихан-банум, пожалуйста, иди сюда! Иди же сюда! – позвал он жену мягко и ласково.

Нехотя, сдвинув брови, вошла Гулихан-банум.

– Что это с тобой? Вдруг онемела? Смотри: уважаемый брат, начальник большой бригады, наш отец родной пришел к нам в дом; он, чтобы поздравить нас с десятилетием нашей свадьбы, среди своих сотен и тысяч важных и срочных дел специально выделил время, пришел сюда. А вообще-то он еще должен был сегодня вечером проводить очень важное совещание. Разве это не огромная для нас честь! Раньше начальник над сотней дворов был такой величинной, что не вмещалась между небом и землей, хотя сто дворов – это всего лишь сто дворов, а сколько дворов у нашего начальника большой бригады? Да ты только подумай, какой к нам пожаловал гость! Ты разве могла о таком мечтать хотя бы во сне? Эй, женщина моя, ты разве не приставала ко мне и днем и ночью – чтобы я пригласил в гости начальника большой бригады? Ну, вот он пришел, так что ж ты молчишь?

– Я еду готовлю, – тихо сказала Гулихан-банум, опустив голову.

– Еду готовишь? Если хочет Худай, в этой жизни у нас будет еда. Еда есть! Мясо есть! Жареное-пареное, деликатесы – есть! И будет много-много... Разве ты не знаешь, что без горячего чувства, без красивых речей никакая еда – не еда? она будет словно воск во рту!

– Так вы и разговариваете...

– Мы? Мы это мы, а ты это ты; разве ты не знаешь, что от выражения лица хозяйки зависит настроение гостя? Ну-ка, скорее налей рюмочку своему уважаемому брату Кутлукжану!

Гулихан-банум нехотя подошла, присела, налила стаканчик, подала Майсуму Но на этот раз он не взял его, чтобы передать как хозяин-мужчина. Майсум велел:

– Ты сама подай уважаемому брату начальнику!

Стаканчик был поставлен перед Кутлукжаном. Майсум удержал поднявшуюся с колен и собирающуюся идти Гулихан-банум:

– Ступай, возьми свой дутар и поиграй, спой нам.

– Ты спятил? – тихо сказала Гулихан-банум. Она сказала это самым высоким тоном, на какой был способен женский бас.

– Раз говоришь, что спятил – значит, спятил! Я ради нашего уважаемого гостя – от того, что пришел наш надежный сердечный друг, к которому тянулась душа, от такой радости – готов сойти с ума. О! какая радость от этого сойти с ума, какое это приятное безумие! И позвольте спросить: а сколько раз в жизни можно сходить с ума? Ежели таково безумие, то чем же оно плохо? Ежели оно так приятно – то как стать безумным? Играй, пой; не станешь слушаться – вырву тебе глаза!

Гулихан-банум робко взглянула снизу на Майсума, словно испуганный ягненок, потом медленно подошла к кровати, сняла со стены дутар и заиграла неторопливую мелодию. Кутлукжан сидел вытаращив глаза, с прыгающим сердцем: за сорок с лишним лет своей жизни он еще ни разу не видел, чтобы муж заставлял жену играть и петь перед гостями. Удары сердца гулко отдавались в ушах.

Гулихан играла с полузакрытыми глазами, левая рука двигалась вверх-вниз, зажимая струны, пальцы правой энергично теребили их. После долгого вступления Гулихан запела:

– Мое сердце горит,

Как пронзенный железом шашлык на огне...

Низкий, очень низкий, словно мужской, а не женский голос напомнил Кутлукжану урчание кошки, запертой в комнате в весеннюю ночь. Он оказался полностью обезоружен, стаканчик непонятным образом оказался пуст.

– Как же я исхудала с тех пор,  
Как с тобой мы расстались...

Еще стаканчик приплыл Кутлукжану в руки. Водка потекла в рот, в такт пощипываемым струнам дутара и пению Гулихан-банум; Майсум сказал:

– Латиф вернулся...

В голове Кутлукжана будто что-то взорвалось.

– Я всю ночь не спала  
Ни еда ни питье мне не в радость...

– Не забывайте, пожалуйста, о поручении Мулатова. Еще раз взорвалось.

– Твои глаза как у верблюжонка,  
И руки белые и нежные твои...

– За Махмуда, душа его на небесах...

– Ах, почему ты мне не отвечаешь,  
Неужто в камень сердце превратилось?

– Теперь и потом вы, пожалуйста, чаще со мной советуйтесь; наши судьбы теперь связаны неразрывно.

– Мое сердце горит,  
Как пронзенный железом шашлык на огне...

Стало быть – за дружбу, до дна; принесли сладости; песня обжигает сердце. За здоровье, опять до дна. В международном положении и внутри страны – изменения... идиотский смех. Опустело блюдо с говядиной в томатах. Кошка мяукает, глаза как у верблюжонка. Ныне и впредь слушаться указаний Майсума.

– Я больше не могу пить.

– Тогда последний стаканчик, самый-самый последний-последний. Гулихан-банум, иди сюда!

Снова мяукает кошка и горят на огне сердце и печенка. Пирог готов! – золотистый пирог с бараниной. Опять еда, кусочки рафинада. Сушеный инжир. Опять до дна; похожий на мужской, неженский голос; пирамиды кружатся, кружатся...

Кутлукжан изумлен, ему радостно, он в страхе, так сладко, он полон надежд, он в полном отчаянии; сегодня кончились дни, когда он стоял ногами на двух лодках и получал и слева и справа; он теперь прочно привязан к боевой колеснице, готовой все снести на своем пути. Он попадет на небо? Или в ад? Пошатываясь, он брел домой и снова и снова спрашивал себя: это все было на самом деле – или это всего лишь сон, причудливый, нереальный мираж?

## **Глава двадцать шестая**

### **Побелка стен: это так весело**

#### **Активисты: это так весело**

#### **Ответственные работники: верим и ждем с нетерпением! – это так весело**

Как и для других жителей района Или в период после Освобождения, побелка стен была для Абдурахмана самой радостной и любимой домашней работой. Каждый год два раза – ну или, по крайней мере, хотя бы один – белить стены – это традиция, это такой заведенный порядок, это удовольствие, культура и отдых. Все потому, что они горячо любят новую жизнь при социализме, потому что свежепобеленные, сверкающие белизной – или, если добавить чуть-чуть синьки, то бледно-голубые – стены еще лучше отражают эту светлую, чистую, прекрасную новую жизнь. И еще потому, что они очень любят гостей, а темная мрачная комната, муть и грязь вокруг, захламленный двор – это просто позор для хозяина и нарушение этикета. Поэтому Рахман в первый же вечер немедленно сообщил своей старой верной спутнице жизни Итахан радостное известие о скором приезде рабочей группы «четырёх чисток» (а он нисколько не сомневался, что товарищи останутся в его доме); этот невысокого роста с топорщащейся приятной белоснежной бородой старикан и его вся в морщинах, но по-прежнему с ладной фигурой, с прямой осанкой, как у девушки-подростка, старуха приняли совместное «Постановление о мерах по организации встречи и приема рабочей группы по социалистическому воспитанию», и в перечне этих мер самым первым пунктом стояло: на следующий же день с утра приступить к побелке.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.